



*Книга издана при поддержке
Посольства Государства Израиль в РФ*

Хамуталь Бар-Йосеф

МУЗЫКА

Повесть и рассказы

*Перевод с иврита
Светланы Шенбрунн*



МОСКВА «ТЕКСТ» 2015

УДК 821.41
ББК 84(5Изр)
Б24

ISBN 978-5-7516-1279-5

© Хамуталь Бар-Йосеф, 2015

© «Текст», издание на русском языке, 2015

ЗАПИСКИ БЛАГОДАРНОГО ЧЕЛОВЕКА АДАМА АЙНЗААМА

Любовная история в минорном ключе

Я обязан рассказать о ней. Она изменила все течение моей жизни. С тех пор минуло восемь лет. Я, Адам-Вольф, сын Ривки и Натана Айнзаамов, уроженец Тель-Авива, проживающий в Ришон-ле-Ционе, пишу о тех давних событиях, и иногда мне кажется, что все это происходило не со мной. Что я недостойн их величия, их мощи, их значения. Я должен задокументировать эту историю с сухостью и ответственностью, присущими летописцам древности, божественным избранникам, сумевшим увековечить великие свершения, изменившие судьбы человечества. Вспоминая некоторые эпизоды тех дней, я наполняюсь стыдом, но ведь я запечатлеваю их исключительно ради собственного успокоения. «Издали все кажется красивее», — сказал Цицерон.

Март 1973. Мои занятия в университете продолжают уже почти полтора года. Я все еще не вполне студент — неполноправный студент. Записался, чтобы порадовать родителей. В этом году я прекратил свои еженедельные посещения психиатрической клиники, но наряду с этим обратился в Отдел психологической

помощи при университете. Я посещаю занятия на историческом факультете, на кафедре истории еврейского народа и общей истории. В «Новостях» упоминают Никсона, Киссинджера, Мао, Брежнева, Садата и Голду Меир. Создается ощущение национальной мощи, но существуют резкие разногласия между «голубыми» и «ястребами». Поговаривают о кандидатуре Моше Даяна на пост главы правительства.

Прекрасные дни, невыразимо прекрасные, не надоевшая промозглая зима и дождь, окутывающий университетский кампус туманом. Холодные ясные дни. Яркие краски, чистые звуки. Приближалась весна, уже чувствовалось ее ликование, проникавшее повсюду, даже в зал исторической библиотеки, даже в труды великих историков, создающие в этих стенах возвышенную духовную атмосферу.

Радость и благодать покоятся на всем, кроме моей души. Я сижу и читаю, но буквы не складываются в слова, из слов не возникает предложений, чтение представляет собой нечто вроде упорного бурения глубокой скважины, из которой под конец удается добыть лишь несколько капель прогорклой воды. Путь от мысли к перу, пытающемуся записать тезисы классического сочинения, пролегает по некоему гигантскому лабиринту пустоты, и конспекта достигают только обрывки вытекающих из книги выводов.

Я валяюсь до полудня в постели, просыпаюсь в час дня, когда мама возвращается со своих процедур. Дом запущен и утопает в грязи. Зачастую я остаюсь голодным, поскольку никто не заботится о том, чтобы закупить продукты. Ссоры между родителями продолжаются и становятся все более злобными. Они кричат, плачут, объясняются по-румынски, чтобы я не понимал, и все это вызывает у меня нестерпимую головную боль и звон в ушах. Из того немногого, что они произносят на идише (это тот язык, на котором

они разговаривают со мной), я понимаю, что они обвиняют друг друга в смерти моего брата, погибшего в Шестидневной войне. «Ты подписала ему!» — рыдает отец. «Из-за тебя он оставил дом! — вопит она. — Нацист! Капо!» Я реагирую на эти проклятья и брань приступами рыданий. Отец бродит по дому, бьется головой о стены, пытается воткнуть хлебный нож себе в сердце, швыряет тарелки с едой на пол. Я отказываюсь встать и отправиться на работу. Профессор Вайнфельд взвешивает возможность временной госпитализации.

Подавленное состояние прогрессирует, я погружаюсь в пропасть удушающего дурмана, лишаящего меня возможности улыбнуться. Цвета тускнеют, на лицо наползает маска различных оттенков серого. Звук существуют: радио, телевидение, рычание проезжающих под окнами автобусов, голоса людей, возгласы «Что слышно? Всего хорошего! До свиданья!». Но все это с трудом проникает сквозь мутную стеклянную завесу, которая выхолащивает звук и превращает его в нечто настолько скудное и незначашее, настолько утомительное, что лучше бы и вовсе не слышать.

Я спую по университету, чересчур часто забегаю в отдел копирования учебных материалов, копаюсь в книгах по истории, литературе, философии. Меня знают там, читать я не могу, буквы мельтешат и скачут перед глазами, но готов обменяться несколькими фразами со знакомыми.

Я среди людей. Тут реально существуют подполковник Авнер, днем несущий службу в армии, а в вечерние часы изучающий историю; Юсуф Мааджна, студент из Умм-эль-Фахма, который живет в общности и читает Цицерона в переводе на арабский (ливанское издание); Биби Беркович, альбинос, пишет диссертацию о спортивных играх в Древнем Риме; Амнон Бен-Арци, активист движения «Компас», до-

бивается освобождения отказывающихся нести воинскую службу, пьет много пива и приударяет за замужними женщинами. Я тоже реально существую здесь: студент второго курса исторического факультета, девятнадцати лет, кареглазый длинноносый шатен, рост средний, очки с толстыми линзами в коричневой пластиковой оправе, кордеревые брюки, всем своим обликом напоминает еврейских юношей из Польши двадцатых—тридцатых годов. Мой акцент, смесь русского, румынского и идиша, выдает мою чуждость. Я знаю, что мой язык — это язык изгнания, и не только из-за акцента, но и из-за особой его мелодии, ритма, а также острот, которые я отпускаю, и вообще присущей мне манеры шутить. Идиш, средство общения с родителями, проступает во всем.

Вгрызаясь мне в душу тоска не позволяет завязать прочные связи с окружающими, поэтому я слоняюсь в одиночестве по верхнему этажу учебного корпуса «Шарет». Эта перипатетика утомляет, и время от времени я позволяю себе опуститься в одно из черных пластиковых кресел, расставленных вдоль стены. Наблюдаю в окно происходящее на территории кампуса. Мысли уносят меня в прошлое.

Учеба продвигается медленно. Сейчас я изучаю главы истории американского еврейства. В прошлом году занимался историей Древнего Рима. На кафедре израильской истории больше студентов. В значительной своей части это замужние и даже пожилые дамы.

Вечером я спускаюсь по трем ступенчатым террасам к автобусной остановке, чтобы ехать домой в Ришон-ле-Цион. Мати Каспи поет на слова Натана Заха: «Когда Господь в первый раз произнес...» Мелодия увлекает меня. «“Да будет свет!” — так сказал добрый Бог. В тот миг он не думал о людях, но в душах их уже сплетались злые козни». На фоне ночного Тель-Авива песня звучит как тревожное предостережение.

Однажды я присоединился к бродившему по кампусу Амнону Бен-Арци, он свернул к расположенному у центрального входа киоску, где продавались удешевленные театральные билеты — решил посетить какое-то представление. В киоске имелись также газеты, автобусные абонементы, сигареты, лотерейные билеты. Зеленый киоск был обвешен со всех сторон объявлениями о предстоящих мероприятиях. Амнон остановился и поинтересовался билетами, а я воспользовался моментом, чтобы перекинуться с окружающими несколькими расхожими фразами о положении в городе и в мире. За прилавком сидела девушка с несколько удлинненным лицом. Высокий лоб обрамляли две пряди черных, ниспадающих на плечи блестящих волос, прижатых заколками к вискам. Глаза ее были зелеными. В разговоре она обнажала два ряда крепких квадратных зубов и весьма решительным голосом отдавала распоряжения помощникам. Вокруг собралось много студентов, стоял обычный галдеж. Мы обменялись с ней несколькими любезными словами, и тут я заметил у нее на пальце широкое обручальное кольцо. Спросил:

— Замужем?

— Да, замужем, — произнесла она и окинула меня, словно бы исподтишка, изучающим взглядом.

Амнон купил билеты, и мы направились обратно в библиотеку. В тот вечер, вернувшись домой, я подумал: сегодня я познакомился с симпатичной женщиной. И на следующий день несколько раз подходил к киоску. Тогда я не мог предположить — даже во сне, — что это знакомство перевернет всю мою жизнь и будет так много значить для меня в последующие годы. И что через восемь лет я почувствую необходимость описать ее и рассказать о ней. С тех пор она превратилась в главное действующее лицо моей персональной истории — Елена Прекрасная моих сражений.

Между мартом и октябрём 1973-го мое душевное состояние весьма ухудшилось. Распад был чудовищным. Атрофировались основные функции мыслительных процессов и памяти. Меня преследовали кошмарные боли, голова раскалывалась, дневной свет резал глаза. Шестого октября 1973 года разразилась война Судного дня. Шестнадцатого октября 1973 года, в день форсирования Суэцкого канала, я попал в психиатрическую больницу и встретил там медсестру Гилу. Гила была напугана силой чувства, которое я начал выказывать ей, и считала, что наши отношения нанесут вред моему здоровью. Тяготы жизни повергли ее в хроническую тоску и отчаяние, она уже не ждала для себя ничего хорошего, начала курить, но ничто не могло сокрушить доброты ее сказочного сердца. Я не обвиняю ее. Она была замужем и к тому же беременна. Она спасла меня от моего ужасного жребия. Сумела сделать то, чего не сделал целый полк врачей. Я попросил ее достать мне «Отверженных» Гюго и перечитал эту книгу от корки до корки.

Когда я учился в одиннадцатом классе, сочинение, посвященное «Отверженным», принесло мне высший балл. Славная, незабвенная моя учительница Элишева, вручая мне тетрадь, пригласила меня на беседу к себе домой — в школе не нашлось такого уголка, где можно было бы спокойно, в тишине, посидеть и поговорить с учеником. Это было в тот год, когда погиб мой брат и наш дом превратился в сущий ад. Я приходил к Элишеве почти каждый день — до тех пор пока она не сказала, что ее муж не желает, чтобы эти визиты продолжались. Перед ее уроком я собирал для нее цветы. Я воображал себя Жаном Вальжаном, который подымает телегу, чтобы спасти раздавленного ею человека. Когда я читал «Отверженных» в психиатрической лечебнице, то чувствовал, что Элишева стоит рядом и разговаривает со мной. Закончив чтение, я понял, что выздоравливаю.

Через восемь месяцев, шестнадцатого июня 1974 года, меня выписали из больницы. Я должен был посетить семейного врача, чтобы получить рецепты назначенных мне лекарств. В ожидании своей очереди я услышал голос за спиной:

— Здравствуй, Адам! Где ты был?

Это оказался Амнон.

— За городом, на тыловой военной базе, — ответил я.

Мы принялись болтать о войне, об университете, об истории, и вдруг он сказал:

— Ты знаешь, эта девушка из киоска спрашивала о тебе. Хотела узнать, куда ты пропал.

— Из какого киоска?

— Ну, эта — из студенческой столовки.

Я вспомнил продавщицу из киоска, где продаются театральные билеты, и удивился. До обалдения удивился. Немногие вспоминали обо мне в ту пору. Война и последовавшая за ней скорбь отдалили людей друг от друга. Теперь меня охватило странное ощущение возвращения домой. Спустя несколько дней я пришел навестить «девушку из киоска», чтобы поблагодарить за проявленный ко мне интерес. Я узнал, что ее зовут Яэль, что она живет с мужем на съемной квартире неподалеку от университета, а киоск служит им источником заработка. Ей я тоже соврал, что был в армии. Я не мог представить себе, чем она станет для меня через три года. В нашей плотской жизни, которая, как сказано у пророка, не более чем солома для скотины или былинка в поле — промчался ветер, и нет ее, — в этой повседневной обыденной жизни мы не всегда обнаруживаем в себе достаточно мужества и чуткости, чтобы оценить истинную глубину самого главного. Наши отношения с людьми носят спорадический характер. Дружеские связи, а тем более контакты по месту работы или учебы, зачастую случайны и потому не подлежат серьезному исследованию и изучению. У Бубера

сказано (не исключено, впрочем, что я прочел это у кого-то другого, какого-нибудь мистического созерцателя дзена): «Я говорю “я” и подразумеваю “Ты”. В нашем мире исполняется судьба Бога». Книжки годятся для чтения перед сном, но не уберігают от подлинной жизни.

Яэль не была мимолетным эпизодом, главой, которая завершится в скором будущем. Разумеется, тут невозможно говорить о легкой интрижке. При других обстоятельствах все это могло и не произойти. Но поскольку сложилось так, как сложилось, мне хочется надеяться, что, по крайней мере, в воспоминаниях все останется навсегда, до конца этой жизни, а если нам уготовано что-то и за ее пределами — если действительно существует мир, в котором нет зла и преступления, — продолжится и там.

Летом 1974-го, после обследования у сердитого доктора, я вернулся в клинику, чтобы провести там конец лета и осень. Затем меня направили в специализированный центр реабилитации в Тель-Авиве. Заполнили историю болезни, в которой я случайно подглядел диагноз: речь шла о весьма серьезном душевном заболевании. В результате значительных усилий, заслуживающих отдельного описания, я начал работать, с помощью людей из Хабада, в Комитете национального единения — по-прежнему соблюдая режим строгого медикаментозного лечения и будучи не в состоянии ни читать, ни что-либо осмыслить или запомнить, даже просто сконцентрировать внимание. Дважды в месяц проделывал на автобусе путь в психиатрическую лечебницу. Получасовая поездка, переправляющая человека из одной действительности в другую. Аптеки и рецепты на лекарства были для меня единственным реальным миром. Моим миром: до сего дня я иногда говорю: «у нас», имея в виду психиатрическую боль-

ницу. Параллельно продолжал посещать университет, бродить между корпусами, заглядывать в библиотеку. Было страстное желание, была неотступная мечта снова обрести возможность читать. Вернуться в то состояние, когда можно не просто держать книгу в руках, а прочесть ее всю до конца.

Газетный киоск оказался единственным местом, где я мог с кем-то поговорить. Единственным, где меня соглашались выслушать. Знакомство с Яэлью постепенно переросло в некое подобие дружбы. Меня все чаще и чаще встречали здесь с улыбкой. Уже месяца через три мы приступали к беседе, обмениваясь рукопожатием, и таким же образом завершали ее. Однажды я подошел к киоску, а ее не было там. Вместо нее сидел молодой мужчина с волнистыми волосами. Черные кудри разлетались на ветру. Глаза были карие, очень темные. Голос звучал тихо и деликатно, гораздо мягче, чем голос Яэли. В нем отсутствовала присущая ей нотка решительности. Он был чуть выше меня ростом и небрежно одет. Взгляд выдавал некую тревогу, мне показалось, что он вечно во всем сомневается. Возможно, не слишком уверен в себе. Я спросил:

— Когда придет госпожа?

Он ответил, что госпожа тотчас прибудет, и она действительно появилась чуть позже, но не представила его мне.

В ту пору наши отношения с Яэлью до того укрепились, что она несколько раз просила меня приглядеть за киоском, когда отходила к телефону или в туалет. Обычно, подойдя к киоску, я снимал с головы кипу, которую носил из-за своей работы в религиозном учреждении — Комитете национального единения, и в шутку пояснял, что снимаю рабочую одежду, тут же заглядывая в газету. Тогда я впервые рассмотрел вблизи почерк госпожи Яэли Ядид. Буквы были крупнее, чем

у меня, и с какими-то завитушками. Непохожи одна на другую. Даже одна и та же буква в разных местах выглядела по-разному. Не было у них единого шаблона. Часть сидела на строке, а часть как бы повисала в воздухе. Что-то в них свидетельствовало о мечтательности и явно противоречило показной решительности. Я пригласил ее на чашечку кофе. Поначалу она приняла мое предложение с сомнением и настаивала на своем праве уплатить за себя. Потом смирилась.

Я ощущал в ней то, что принято называть любовью к ближнему, — умение симпатизировать людям и вызывать ответную симпатию.

Глядя на нее, я с умилением подмечал случайные позы и жесты: наклон головы, мелькание пальцев, поправляющих непослушную прядь волос, движение руки, перелистывающей бумаги в одной из папок.

Я сопровождал ее в каждодневном походе в университетское отделение банка. Мы вкладывали на ее счет вырученные деньги. Я познакомился со всеми, кто участвовал в работе киоска, и, кажется, завоевал их расположение. Мое присутствие возле киоска сделалось как бы само собой разумеющимся. Я перестал посещать свой факультет и библиотеку. Ходил в университет исключительно для того, чтобы околачиваться возле киоска. Время от времени помогал ей укладывать пачки газет на тележку. Благодаря свободному владению идишем завязал сердечные отношения с работниками техобслуживания ближайшего университетского корпуса. Она притягивала к себе многих людей: служащих университета, преподавателей и студентов — ее киоск у всех пользовался популярностью. Меня удивляло постоянное желание самых разных людей услужить ей: буфетчицы приносили ей кофе, из хозяйственного отдела присылали фрукты, банк делал для нее исключение и разрешал заходить в любое время. Я видел, что она окружена всеобщей

любовью, но иногда невольно задумывался над тем, нет ли тут и другой стороны медали. Было ясно, что она хороший человек и умеет прислушаться. Я спрашивал себя, позволительно ли мне посвятить ее в мои личные проблемы и развернуть перед ней свиток моих недомоганий и страданий. У меня было ощущение, что ее благосклонность ко мне и наше приятельство достаточно устойчивы, и решился: если она оборвет нашу связь, услышав слово «психиатрия», значит, не столкновались — что делать?

Я пригласил ее в кафетерий, расположенный на широкой площади между корпусами «Шарет» и «Река-нати», и в самых скупых выражениях рассказал о себе и своем прошлом. Похоже, она оценила мою откровенность. Я пожал ей руку. Мы продолжали общаться. Улыбки ее становились все более сердечными. Но я все еще ни разу не видел ее смеющейся.

Однажды я торопливо шагал в отдел копирования и не заметил, что она сидит в парке на каменной скамье и наблюдает за мной. Вдруг я поднял голову — она широко улыбалась. Тепло и живо. Меня охватило ощущение, будто весь мир наполнился брызгами зеленоватого света. Глаза ее излучали золотистое и оливковое сияние. Я остановился по-настоящему пораженный и совершенно позабыл, куда направляюсь.

В другой раз я поднимался вечером по ступеням корпуса «Шарет», и мы едва не столкнулись в темноте. А еще как бы между прочим мне было поведено о бале-маскараде, на который она явилась в мужском костюме, а ее муж в женском. В ее голосе трепетала нотка лукавого удовольствия. Подмигнув, она призналась, что на протяжении всего бала не произнесла ни слова, чтобы не выдать себя.

Я все больше обращал внимание на ее красоту, царственную осанку, воздушное и гордое телосложение, нежную тонкую фигурку, любовался линией ее про-

филя. Прямой греческий нос, как будто слегка усеченный на кончике. Обычно она носила кордеревые брюки, которые плотно облегли ее длинные ноги. Очень длинные. Летом надевала блузку, завязанную на плечах тесемками. Обнаженные классические плечи. Я оценил их спортивную развернутость, их мощную упругость. Мускулистые и при этом чрезвычайно женственные руки. Легкая изящная линия груди. На ногах почти всегда одни и те же коричневые туфли с округлыми носами. Иногда высокие сапоги. Особое впечатление на меня производили ее крупные зубы. Губы были не слишком тонкими и не слишком полными, но присутствовало в них что-то, выдающее натуру, умеющую наслаждаться жизнью. Глядя на нее, я мечтал, чтобы мои руки растаяли и превратились в морские волны, обнимающие ее целиком, когда она заходит в воду.

В том — 1975-м — году я достиг почти устойчивого состояния. Ежедневно до часу тридцати трудился в Комитете национального единения, отдыхал после обеда, раз в неделю посещал Зоара, парня, с которым подружился, случайно познакомившись на автобусной остановке. Зоару — я называл его Жожо — я тотчас открыл основные факты моей биографии. Имя Яэли ни разу не прозвучало в наших разговорах на протяжении всего того года и следующего тоже. Только в конце 1976-го я начал упоминать ее как свою «хорошую знакомую».

Я принят в университет как полноправный студент! Чувствую себя, как Черчилль во время Второй мировой войны, как человек, который осуществил невозможное. Показал Яэли документы. Она обрадовалась за меня. Я с великим рвением готовлюсь к лекциям.

Яэль познакомила меня со своим мужем Яиром. Это был тот парень, который однажды подменял ее в

киоске. Весь его облик напоминал мягкую сталь. Симпатичный, но какая-то неуверенность, достаточно трогательная, выдавала характер, склонный к сомнениям и пессимизму. Было ясно, что он не разделяет уверенности в лучшем будущем не только для всего человечества, но и для отдельно взятого человека. Несколько раз я слышал, как он говорит: «В любом случае, известно, чем все кончается». Его тихая застенчивая улыбка — полная противоположность радостной, взволнованной улыбки Яэли — словно говорила: «Мы маленькие люди, и правильно сделаем, если будем знать свое место и не станем устремляться в высшие сферы». Он обожал заниматься абстрактными математическими вычислениями и находил в них потаенные значения, которые откроют ему то, что должно произойти в ближайшем и более отдаленном будущем. Кроме того, он читал французские книги и пытался учить немецкий. Иногда жаловался на что-то, но без всякого раздражения. Я узнал от него, что он боевой офицер и принимал участие в войне Судного дня. При этом в нем не было ни малейшей склонности к агрессии, свойственной бравым воякам. Я попытался представить его в военной форме и не смог. Яир рассказывал мне о происходившем на передовой и описывал бой как «продвижение к горизонту и несколько выстрелов вдалеке». Я чувствовал, что этот человек не живет в аду, подобно мне, хотя и говорит иногда об «усталости». Это я понимал.

Я познакомился с ее шестнадцатилетней сестрой Теилой. Низенькая, пухленькая девчужка, скромная одежда свидетельствует о религиозном воспитании. Напоминает золотые карманные часы без крышечки. Кругленькое личико, взгляд темных глаз выдает натуру наивную и прямодушную. В нашем неустойчивом и раскачивающемся, словно подвыпившем мире она нашла счастье в книгах, подружках и школе. Какая-то неловкость в ее поведении вызывала во мне невольное

сочувствие. Она поверяла Яэли свои важные тайны, они шептались и секретничали, Яэль с любовью опекала эту молодую, невинную жизнь. Мне случалось перехватить один из ее сияющих взглядов, брошенных на Теилу, в основном это случалось, когда разговор переходил на деликатные рельсы. В такие мгновения я вдруг находил интерес в чем-то далеком от предмета их беседы.

В ту же пору я подружился со слепым аспирантом, который всегда носил зеленый свитер и темные брюки. При нем состояла собака-поводырь медового цвета по кличке Дон. Мой новый знакомый узнавал меня по голосу и радовался нашим встречам. Он писал кандидатскую диссертацию о билингвизме Беккета и удивлялся тому, что я не знаком с творчеством этого писателя.

В ноябре 1976-го я приступил к занятиям в университете как полноправный студент. Настроение было приподнятое, но за несколько дней до начала учебного года я умудрился заболеть тяжелым спазматическим бронхитом. На первую лекцию по реформам братьев Гракхов явился задыхаясь и с вентолином в кармане. Зайдя в аудиторию, заметил, что руки у меня трясутся. Ощущение было такое, что я удостоился чести, которую и греки, и троянцы оказали Гектору после его гибели. От избытка переживаний я плотно сжал губы. Мне казалось, что я грежу, что вот-вот придется вернуться к вечерним процедурам в больнице. Но фантастическое действие было подлинным: за окнами четырехста сорок шестой аудитории в корпусе «Гильмана» сияли оранжевые огни университетских фонарей, ночная красота которых в тот час была трижды очаровательной, и библиотека, в двери которой я снова вошел, на этот раз как заправский студент, представила мне живым человеком, ожидавшим нашей встречи и верившим, что она непременно состоится.

Я целыми днями торчал в библиотеке. Учебная литература была украшена рисунками и фотографиями великолепных икон, крестов и корон, и это усиливало ощущение восторженного подъема.

Контакты с Яэлью становились все более тесными. Тотчас после окончания каждой лекции я просто обязан был стрелой лететь к ее киоску. Я чувствовал, как сердце мое выскакивает из груди, стоит мне издали увидеть ее, окруженную публикой, требующей билетов. Иногда мы гуляли по дорожкам кампуса. Родители ее развелись год назад. Про мужа она сказала: «Во время войны я думала, что, если Яир погибнет, я покончу жизнь самоубийством, но потом поняла, что у меня не хватило бы мужества совершить это, даже если бы мне было суждено навеки остаться вдовой». Она так просто произнесла эти слова — «покончу жизнь самоубийством», — будто речь шла о том, какие носки надеть завтра. Я рассказал ей более подробно о своей болезни, о том, что подталкивает меня к учебе. Мы говорили и о сути любви, и о страхе смерти, и о Боге, и о художественной литературе, об истории и об историках, о судах и юристах. Порой она выуживала из каких-то глубин одну из столь дорогих моему сердцу улыбок (у нее имелось их несколько), но, если я заговаривал о чем-то, что было ей не по душе, в глазах ее вспыхивали сухие желтые молнии, словно у сурового монаха-отшельника, и губы вытягивались в ниточку. В те моменты, когда она становилась серьезной и в особенности когда размышляла над чтением, она выглядела спокойной и сосредоточенной. Если содержание книги всерьез интересовало ее, опускала книгу на колени и наклонялась всем телом вперед, словно газель в пустыне, жаждущая припасть к источнику.

Она рассказала мне о своей учебе на юридическом факультете. Призналась, что не особенно любит юриспруденцию и жаловалась, что записалась на этот фа-

культет, когда у нее было «разумение девятнадцатилетней девочки», но аккуратно ходила на лекции. Иногда я сопровождал ее. Юридический факультет помещался в старом здании, насквозь пропитанном солнцем, и в вечерние часы был заполнен студентами. Здесь царила та удивительная атмосфера, которой не сыщешь нигде в другом месте, кроме как в университетах: некая серьезная веселость или веселая серьезность. Настойчивость в учебе и в то же время желание весело провести время. Легкая подспудная тревога: удастся ли тебе преодолеть дистанцию между тем, что ты представляешь собой сейчас, и тем, чем тебе предстоит стать. Я чувствовал, что удостоился вступления в Храм науки. Мраморные стены благородно поблескивали в свете неоновых ламп. Вазоны с цветущими растениями, стрекотание кузнечиков, шарканье профессорских туфель придавали заслуженному зданию почтенное достоинство. Я провожал Яэль на лекцию, а сам оставался снаружи, читал свои книжки по истории или просматривал студенческую газету. Время от времени к ней подходили товарищи по учебе и радостно приветствовали ее. Это были молодые парни, очень красивые и очень уверенные в себе, решительные, энергичные, обладатели черных кожаных кейсов «Джеймс Бонд». На стене нижнего этажа были развешены фотографии студентов, погибших в войну Судного дня. Когда она выходила с лекции или с экзамена, я провожал ее в кафетерий и заказывал для нее одну чашечку кофе за другой. Как можно определить наши тогдашние отношения? Что это было — дружеская симпатия? Симпатия, не более того.

Напряжение, вызванное работой и учебой, оказалось чрезмерным для меня. В Комитете национального единения я ощущал себя лишним. Я решил отказаться от этой работы и сказал им последнее «прости». Мое пре-

бывание там обеспечило мне возвращение в социум. Я не прерывал контактов с рабби Иехудой — счастье, что я удостоился знакомства с ним и его женой Яфой. Они частенько приглашали меня к себе на субботнюю трапезу. Однажды я явился к ним уже после зажигания свечей, когда рабби Иехуда находился в синагоге. Стол был накрыт для праздничного ужина. Разнокалиберные тарелки стояли на белой нейлоновой скатерти. Я с удивлением обнаружил, что на подносе, предназначенном для субботней халы, возлежит кошка Нили. У кошек есть особый нюх выискивать для себя уютные местечки, подходящие для них по размерам. Яфа видела нарушительницу порядка, но даже глазом не моргнула. Они держали в доме еще двух больших собак, которые жили в удивительном согласии друг с другом и с кошкой. Угощение состояло из супа и различных консервов. «Мои дети говорят, что я отлично умею открывать консервные банки», — смеялась Яфа, нисколько не смущаясь тем, что не только не привыкла готовить, но даже не пытается овладеть этим искусством. Я вспомнил извечные надрывные вопли у нас в доме по поводу того, что еда то недожарена, то, наоборот, подгорела, — можно подумать, что все это делается назло главе семьи, страдающему язвой желудка. Любое застолье у нас начиналось со скандала и им же завершалось.

Тот факт, что я стал безработным, вызвал у родителей беспокойство, которое они выразили привычным для них образом: грубыми нападками и издевками. Я выбирался из постели ближе к полудню и отправлялся в университет, не произнося ни слова.

Сдать все экзамены по завершении первого семестра мне не удалось. Стало ясно, что, несмотря на все, я по-прежнему болен. Официальная формулировка: душевнобольной. Нервный срыв, не выдерживает тяжелой семейной обстановки — так оно звучит лучше.

Я не чувствовал, что веду себя как-то неадекватно, и на лбу у меня не написано, что я псих. Кто знал, тот знал, а кто не знал, будто и не замечал ничего. Но я-то понимал, что проблема существует — серьезная и вряд ли разрешимая.

В киоске также возникли сложности: часть сотрудников покинула его, и Яэль осталась без необходимой помощи. У Яира с занятиями тоже шло не так уж гладко. Однажды он подошел к киоску и объявил, что вышел с экзамена, не написав ни слова. После чего забился в какой-то угол и закурил. Яэль была обеспокоена: их благополучие оказалось под угрозой. Кто-то добивался их удаления с территории кампуса и задействовал свои связи, чтобы выжить их с теплого местечка. Дело уладилось только благодаря тому, что они согласились на уменьшение процента своих доходов и чем-то поступились в пользу конкурентов. Именно тогда Яэль предложила мне присоединиться к ним. «Мы платим больше, чем полагается по студенческим расценкам, — сказала она, — и у тебя будет занятость, которая позволит совмещать работу с учебой». Я с радостью согласился и в течение двух лет оставался их помощником.

Двадцать третьего октября 1977 года я приступил к занятиям на втором курсе как обычный студент. В том семестре я записался на кафедру американской истории. Для работы мне было отведено место в корпусе «Реканати». Стою за прилавком и продаю вечерние газеты, две пачки которых лежат возле входной двери. Проходящие мимо студенты раскупают их. Улучив свободную минутку, заглядываю в учебник или отхожу к автомату, предлагающему стаканчик кофе. Иногда общиваюсь с покупателями незамысловатой шуткой. Когда газеты кончаются, иду к киоску за новыми пачками. Яэль записывает в свою тетрадку, сколько я взял.

Вместе со мной за тем же прилавком работает несколько молодых женщин. Властная, решительная Рахель, похожая на Лив Ульман, осваивает искусство дизайнера тканей в колледже «Шенкар», непрерывно курит и воинственно командует нами. Пухленькая, коротко стриженная коротышка Мона изучает психологию, говорит с легким французским акцентом и собирается поехать за границу. Она очень веселая. Мэги, тоже небольшого росточка, всегда небрежно одетая, читает книги по философии и семантике. Она не красива, но глаза пылко сверкают то ли от радости, то ли от печали. Скорей от печали. Бурно обсуждает проблемы духовности и, выпив стаканчик кофе, исчезает.

Иногда и Теила, сестра Яэли, приходит помочь. Она подросла и похорошела, но стыдливая улыбка по-прежнему бродит по ее лицу. У нее возникли трудности в учебе, и Яэль помогает ей. Теила хочет перейти из религиозной школы в светскую, но не решается расстаться с подружками. Она пишет им записочки маленькими круглыми буквами. Почерк у нее ясный. Какой прекрасный возраст! Я мог бы сойтись поближе с каждой из этих девушек, но что мне до них?

После работы я провожаю Яэль в банк, где она кладет на свой счет выручку, помогаю Яиру упаковать и отнести на склад оставшийся товар, иногда мы все вместе делаем покупки. В те дни, когда нет занятий, я должен прибыть к киоску в девять утра. Мы успеваем проглотить кофе с пирожком, и тут поступают свежие газеты, я разрезаю синтетические веревки, которыми перевязаны пачки, и вкладываю в каждую газету приложения. По утрам университет выглядит очень красивым. Яэль тоже. Лучи зимнего солнца проглаживают стены зданий, зажигают яркие блики на лужайках и примиряют меня с окружающим миром.

Вечерами сумерки опускаются на кампус с царственным спокойствием. Неоновые огни бестрепетно пронзают темноту ночи.

Иногда мы беседуем о политике. Яэль считает, что нельзя нарушать справедливость по отношению к палестинцам. Левизна ее взглядов проистекает из нежелания иметь что-либо общее с правым лагерем, который представляется ей косным и навеки застывшим в своей отсталости.

Приближается зима. Небо тускнеет, унылая серость сопровождает меня по дороге в университет. Первые дожди создают ощущение мечтательной замкнутости и отрешенности, как у рыбаков, занятых починкой сетей в преддверии лета. Прозрачный после дождя воздух вызывает желание улечься в постели на спину и прочесть несколько хороших стихотворений.

Наши беседы с Яэлью продолжаются в столовке корпуса «Гильман». Яэль упорная вегетарианка, она и Яира убедила стать вегетарианцем. Мы обсуждаем события культурной жизни и политики. Главным образом посещение кнессета Садатом, состоявшееся девятнадцатого ноября 1977 года. Ощущение чего-то нереального, небывалого везения. Визит Садата значительно повысил спрос на газеты. Яэль не перестает шутить и смеяться. Ее смех захватывает меня, в нем есть какая-то магическая сила, загадка, которую я пока не могу разгадать. Она улыбается и спрашивает: «Все в порядке?» И получается, что все просто обязательно быть в порядке, как же иначе?

Ей стало известно, что я поклонник классической музыки. Однажды к нам поступили билеты на серию концертов «О людях и звуках». Концерты сопровождаются комментариями известных музыковедов.

— Ты ведь любишь концерты. Почему бы тебе не купить билет и не присоединиться к нам? — предложила Яэль.

Это выглядело элементарным делом, только не для меня. Отправиться поздно вечером на концерт? Сумею ли я преодолеть свои постоянные опасения заблудиться и потеряться? Смогу ли убедить мою вечно страдающую мать в том, что со мной не случится никакого несчастья? Я начал было отнекиваться, но соблазн был слишком велик: впервые собственными глазами увидеть внутреннее убранство Дворца культуры. К тому же я буду не один. Желто-коричневый билет был приобретен, и мы договорились встретиться вечером у них дома, чтобы оттуда пешком отправиться во Дворец. Они жили теперь в одном из переулков в центре Тель-Авива. День был дождливым и очень холодным. Я постарался отдохнуть днем и принял душ. Впервые я смогу побывать у Яэли дома.

Автобус еле полз из Ришон-ле-Циона в Тель-Авив, дождь лил и лил, окна запотели. Я уже едва ли не раскаивался в том, что вышел из дому в такой промозглый и ненастный вечер. Автобус доставил меня в центр Тель-Авива, я пересек несколько тусклых переулков и отыскал их дом. Здание выглядело очень старым. Тьма стояла вокруг, пронизывающий ветер и дождь захлестывали под полы пальто. Небольшая дощечка на двери и звонок с молоточком. Маленькая квартирка. С того дня и до сих пор эта квартира течет в моих жилах живительным эликсиром. Мне частенько представляется, что я возвращаюсь туда.

Яэль открыла дверь и сказала: «Привет!» Она была в прекрасном настроении и казалась особенно разговорчивой. Я затрудняюсь определить эту манеру общения: не бьющие в цель задиристые шутки, только некое изречение или фраза, как будто вовсе не относящаяся

к затронутой теме, но свидетельствующая о душевной деликатности, о способности уловить сущность ситуации и выразить ее простыми словами. При каждом таком высказывании губы ее раздвигались, морщинка на переносице становилась глубже, из полуопущенных век вырывалась улыбка и заливала все вокруг.

Яир побрился и облачился в вечерний костюм. Я сидел у небольшого кухонного столика и пытался просушить возле печки промокшие под дождем брюки. Выпил стакан фруктового чаю. Пришла мама Яэли.

Это была высокая женщина, похожая лицом на дочь, но характерная для Яэли приветливость в ее лице отсутствовала. На ней была меховая шапка. Она принялась сетовать на то, что молодое поколение не желает прислушаться к голосу родителей. Потом заговорили о политике, и стало ясно, что мать не поддерживает левых взглядов дочери. Она производила впечатление человека, которому довелось много страдать в жизни, и теперь ее не оставляет горечь. У нее был французский акцент выходцев из Северной Африки. Яэль была ласкова с ней, но стояла на своем.

В крошечной кухоньке была раковина с единственным краном, по обеим сторонам от нее размещались темно-коричневые шкафчики. На стене висел листок с надписью «Тут едят то, что дают» и с изображением обгрызенного рыбьего хребта, а рядом — афиша балетного спектакля. Люминесцентная лампа освещала все слишком резким светом. Раковина была полна грязной посуды, на столе громоздилась разнообразная еда — разумеется, только вегетарианская. Создавалось впечатление, что эта кухня служит также местом взволнованных интеллектуальных диспутов, а не только семейных ссор и поглощения вегетарианских продуктов. Гостиная была обставлена по-студенчески: казенные кровати, покрытые цветными одеялами. Мольберт на треноге, на нем арабский медный поднос, исполняю-

щий обязанности стола. Длинные книжные полки, сооруженные из простых досок, уложенных на кирпичи. Книги были расставлены как попало, и было видно, что ими интересуются. На полу зеленый войлочный ковер, а на стене огромная наклеенная на четыре куса картона фотография коротко остриженной улыбающейся девушки. Улыбка подбадривала и соблазняла, взгляд был проникновенным и теплым, взгляд молодой и многообещающей жизни. На противоположной стене гвоздями была прибита репродукция Луиз Буржуа: некие создания вышагивают на ногах, похожих на паучие лапы. Свет в комнате исходил от одной лампы, розетка которой, к моему ужасу, оказалась оголена. Спальня была просторной, и в ней царил ужаснейший беспорядок: на широкой и низкой двуспальной кровати были разбросаны книги, одежда и обувь. Возле кровати помещался небольшой туалетный столик и рядом — письменный стол, на котором валялись бумаги, относящиеся к работе киоска. Сбоку стоял платяной шкаф с захлопнутыми дверцами.

Атмосфера квартиры дышала юношеской беззаботностью и отличалась от всего, что мне приходилось видеть прежде: ни ламп в стиле барокко, ни обоев на стенах, все убранство приобретено на блошином рынке. Жизнь отважная и оптимистичная, весьма, весьма оптимистичная. Очень привлекательная.

Прибыла Тирца, приятельница Яэли и Яира. Я тотчас уловил ее энергию, умение разбираться в делах и управлять людьми. Яэль любила окружать себя подобными ей. Между Тирцей и Яэлью долгая и крепкая дружба. Две эти юные и перспективные леди ценят и обожают друг друга. У Тирцы красивые миндалевидные глаза.

Снаружи рокотал ливень. Яэль восторженно рассуждала о том, что необходимо беседовать с растениями в цветочных горшках, это способствует их раз-

витию. Яир выразил некоторое сомнение в справедливости такого утверждения. Тирца вымыла посуду, оставшуюся от ужина, закончившегося до ее появления. Было уже около восьми. Мы двинулись по направлению к Дворцу культуры.

Тот вечер 15 декабря 1977 года был исключительным по глубине охвативших меня чувств, я с жадностью, всем своим существом, впитывал атмосферу этого дома, его простоту и дружелюбие. Квартирка Яэли и Яира напитала меня жизненным эликсиром, сделалась в моих глазах местом непорочным, чистым, средоточием высоких порывов. Она придала мне неопишуемые душевные силы, и до смертного часа останется для меня самым светлым воспоминанием. Исторический момент.

Было восемь часов десять минут. Мы вышли наружу. На тель-авивских улицах бушевали дождь и ветер. Яэль и Тирца захватили зонтики, Яир накрыл меня и себя куском нейлона. Мы почти бежали рядышком под нейлоновым пологом. Я признался:

— Если бы четыре года назад мне сказали, что я окажусь когда-нибудь во Дворце культуры, я бы подумал, что имею дело с сумасшедшими.

— Четыре года назад ты и был в сумасшедшем доме, — усмехнулся он, будто отметил обыденный факт.

Мы миновали несколько туманных улиц, и впереди вдруг блеснул свет: великолепная площадь перед Дворцом культуры и здание театра «Габима» были ярко освещены. Дождь внезапно прекратился. Холодный воздух прозрачен, с деревьев капает вода. Громадные фонари двоятся в мокром камне, переливающимся всеми красками и оттенками.

Перед входом начали собираться господа и дамы, закутанные в добротные пальто и меха. Резкий за-

пах влажного воздуха и дамских духов ударил мне в ноздри. Внутренность здания встретила нас темными и светлыми оттенками коричневого и сиянием множества люстр. Пришлось спуститься по нескольким лестничным пролетам, следовавшим один за другим. Я шел и чувствовал медленное сладостное погружение в медовую субстанцию. Два ряда цветных фонариков отражались в шелковых одеждах и украшавшей зал бронзе. Сцена была пуста, ни души, только музыкальные инструменты и пюпитр дирижера. Зал с тихим шорохом наполнялся зрителями, густел поток чинных костюмов и вечерних платьев. Атмосфера богатства, великолепия, роскоши и умиротворенности.

В памяти невольно вспыхнули часы, проведенные в уголке культуры и отдыха психиатрической больницы: комнатка с патефоном и заезженными пластинками. На глазах у меня выступили слезы. Я не знал, кого благодарить за то, что удостоился этого вечера. Разве я заслужил такое счастье? Я вспомнил вдруг моего одноклассника Элизера, погибшего 19 октября 1973 года на Голанах, на позиции Тель-Шамс, при взрыве ракеты. И тут я вдруг осознал, что значит «пожертвовать жизнью во имя жизни». Ведь если бы не сотни и тысячи солдат, покоящихся теперь в могилах, и не тысячи раненых, стенавших в те дни в больницах, процедурных кабинетах, реабилитационных центрах, да и в тех же психиатрических больницах, — если бы не они, никто из нас не находился бы сегодня в роскошном храме культуры. Так подумал я в ту минуту.

Прозвучали три мелодичных дин-дона, и свет постепенно угас. Установилась тишина. Сотни людей сидели, погруженные в себя. Моим соседом оказался высокий юноша со светлой шевелюрой. Он беседовал вполголоса по-немецки с пожилой дамой. У меня сложилось впечатление, что он хорошо разбирается в музыке, возможно, благодаря тому, что он говорил, не

отнимая кончиков пальцев ото лба. Другой рукой он время от времени приглаживал волнистые волосы.

На сцену вышел дирижер, поприветствовал публику и вкратце изложил тему первого произведения. Нам предстояло прослушать балетную сюиту «Чудесный мандарин» Белы Бартока. Послышалось легкое откашливание инструментов, и музыка полилась. Мощная, горестная и головокружительная. Сюита захватывала и подымалась с ужасающей мелодической энергией. Злобная борьба между безжалостными потусторонними силами и людьми.

Второго произведения, на этот раз Баха, я почти не слышал и не запомнил, потому что сюита Бартока была потрясающей, после нее я уже не воспринимал ничего.

Когда звуки затихли, мне показалось, что я снова слышу приглушенный шелест дождя. Был объявлен перерыв. Мы вышли из зала в вестибюль. Я чувствовал, что не в состоянии оставаться в одиночестве и не отходил от Яира. Яэль поклялась с лукавой улыбкой, что я выгляжу так, словно родился здесь. Я представил себя в коричневых кордероевых брюках и свитере, украшенном скандинавскими «снежинками», среди этих дорогих вечерних платьев и костюмов; тяжелое, пропитанное дождем пальто перекинута через руку. Внешность, весьма подходящая для того, кто целые дни проводит в этих царственных чертогах! Но почему, в самом деле, мне не дано быть одним из этих людей? Моя врожденная польская вежливость могла бы спасти все.

В чреве этого храма я видел достаток, утонченность и изнеженность: дымок от первосортного табака, небольшие изящно оформленные сэндвичи, элитные напитки в изящных рюмках. Люди с увлечением беседовали о политике, безопасности, искусстве. Постоянные посе-

тители этого места были привычны к такому времяпрепровождению и, вероятно, даже не представляли, что может быть иначе. Для меня же все это было в диковинку — неожиданно и прекрасно.

Мы вернулись в зал. Адажиетто из Пятой симфонии до-диез минор Густава Малера. Музыка порхает и трепещет, звуки поглощаются тьмой. Затем исполнили «Белого павлина» Чарльза Гриффеса, творчество которого, согласно словам дирижера, находилось под влиянием Клода Дебюсси. На бис нас угостили «Императорским вальсом» Иоганна Штрауса.

Музыканты покинули сцену, и многочисленная публика направилась к выходу. Волшебство улетучилось. Я поднимался по ступеням, пробуждаясь от дивного сна. В продолжение вечера я не говорил с Яэлью, поскольку лицо Тирцы заслоняло ее от меня. Мы оказались у дверей, ведущих наружу, запах дождя проникал в здание, прохлада похлопывала по нашим лицам. Яэль улыбнулась одной из своих подбадривающих улыбок и спросила: «Понравилось?» Я оказался не в силах ответить. Волна жара окатила меня. Я склонил голову.

Распрощались с Тирцей. На огромной пустой площади оставались считанные фигуры. Яэль объявила, что ей хочется мороженого, и направилась к киоску. Я попытался опередить ее, но она сказала: Адам, даже мой муж не указывает мне, что я должна делать. На самом деле мы все были голодны, и я купил каждому по хрустящему овальному бублику — *бейгеле*. Яэль запротестовала, но я сказал: Яэль, даже моя мама не указывает мне, что я должен делать...

Яир был весел. Они решили проводить меня до автобусной остановки. Мы втроем шагали под дождем, отблески фонарей вспыхивали на тротуарах и горели пурпурным огнем. Здания большого города выглядели задумчивыми и погруженными в себя. Туманный вечер пенился и переливался во мне, как темный напи-

ток. Яир напевал мелодию «Императорского вальса» и пританцовывал между деревьями на бульваре. Яэль была воздушней, чем обычно, я опасался, что еще немного, и она упорхнет в небеса. Издали доносилось ворчание автобусов.

И тут произошло нечто весьма банальное: я влюбился в нее.

О сосновый простор, грохот на волноломе,
мерная смена света, колокольный прибор.
Сумерки загустевают в твоих глазах, моё чудо,
раковина земная, — все земли поют тобой.

Пабло Неруда,

«Двадцать поэм любви и одна песня отчаянья».

Песня третья.

Когда домой я из винного погребка вернулся,
утихомирило очарование радости ночи бурление
моей крови.

Мгновенно замерло мое сердце, как покинутая сцена,
на которой погасли огни.

Дух мой преодолел тьму и замер меж звезд, и я видел:
вот мы забавляемся без страха в безмолвном дворе
храма нашего царства.

Рабиндранат Тагор, «Я — гость».

Мы постояли на остановке. Все время, пока не подъехал автобус, Яир и Яэль толковали о мороженом. Я поднялся в автобус и помахал им рукой через оконное стекло. И долго еще оглядывался назад.

Всю дорогу я был необычайно возбужден. Что-то новое проникло мне в душу и теперь чрезвычайно смущало. Поверх смятения проступило и новое ощущение: я не владею своими мыслями и, в сущности, не понимаю, где нахожусь. Приподнятое настроение не отступало. Автобус — усталый потрепанный старичок. Пальцы мои дрожали на железном поручне.

Звуки, цвета, запахи били как африканские барабаны: утрата пути, утрата пути! Печальный дождь стучал по стеклам, я ощущал на языке горечь его струй.

Путь от автобусной остановки до своего дома я пробежал задыхаясь. Здесь меня ожидала обычная сцена пренебрежения и слез. После великолепия Дворца культуры я попал в свинарник, обитатели которого временно покинули его, чтобы принять участие в демонстрации перед зданием правительства с требованием улучшения условий проживания. Я встал под душой, как куль с песком, рухнул в сон.

Следующее утро, 16 декабря 1977 года, запомнилось тем, что я был кем-то вроде второго прибывшего в Америку после Христофора Колумба. Сила пережитого накануне сказалась на всем. День был ясный и холодный, я поспешил вернуться к работе у своего газетного стенда. Подходили покупатели. Укутанный в пальто, я расположился против входа в здание «Река-нати». Мысли мои путались после тяжелого, глубокого сна минувшей ночи. Покончив с газетами, я направился к киоску, где сидела Яэль. Едва увидев ее, я как будто погрузился в былое, не во вчерашний вечер, а в далекое прошлое. Все, что было во мне, потянулось к ней — ее лицу, ее волосам, ее глазам.

Занятия в университете продолжались, но кто был способен понять, чем отличалась система организации греческой фаланги от македонской или римской? Все, чего я желал, так это находиться возле киоска, возле моей Яэли. Стрелка моего сердца дрожала, как игла компаса вблизи Северного полюса. Смутность сознания заняла место упорядоченного мышления. Я был отброшен в какое-то новое состояние.

Попросил разрешения объясниться с ней; она, конечно, согласилась, но из-за загруженности работой назначила встречу на следующую неделю. Ожидание

показалось мне вечностью. Я прилагал невероятные усилия к тому, чтобы отвечать за свои поступки на работе и в учебе. Это стоило мне немалых терзаний и здоровья. Никто не слышал грохота мощного водопада, готового в любую минуту поглотить меня в своей пучине.

На исходе декабря состоялась встреча, которая должна была внести порядок в мою душу. Я чувствовал, что, если открою этой женщине, этой прекрасной женщине, всю силу моих чувств и произнесу роковое слово «любовь», она просто встанет и уйдет без лишних объяснений. Мы сидели в кафе, на столике между нами стояли две чашки кофе. Над нашими головами нависло мрачное лиловое небо, запятнанное в тот час рваными клочьями серых и черных облаков, вспыхивавших сполохами синего света. Очень беспокойное и недружелюбное небо, таящее в себе бурю и откровенно предупреждающее о невозможности симпатии.

После нескольких минут хождения вокруг да около и после того, как я постарался освежить ощущения, охватившие нас всех во время посещения Дворца культуры, я попросил прощения и сказал: я люблю тебя, Яэль.

В продолжении всего этого разговора она выглядела — это я точно помню — притихшей, но как бы и слегка позабавленной и время от времени даже улыбалась. Она произнесла несколько фраз, но я ничего не слышал. Я отдал себя в ее руки, не требуя ничего взамен. Всего себя. Губы ее слегка раздвинулись, открылись два ряда квадратных зубов. Явственно прорезалась морщинка с левой стороны носа. Глаза широко раскрылись, и зеленая волна света выплеснулась из них наружу. Веки вдруг смежились. Она оставалась в этом состоянии долю секунды, а потом рассмеялась. Смех продолжался долго, она старалась подавить его, но не могла. Новые и новые взрывы хохота сотрясали

ее тело, клокотали в горле и рвались наружу, глаза наполнились влагой.

Я испугался. Она была красивой женщиной, но в эти мгновения ее красота удвоилась, вспыхнула с невероятной мощью. Меня как будто приклеило к стулу, не было сил вскочить и убежать. Успокоившись, она сказала: такие вещи случаются постоянно, и нет причины чрезмерно волноваться по этому поводу. Я понял, что ее не задело мое признание и нисколько не встревожило это убийственное чувство.

Оставалось поставить еще кое-какие точки над «и»: я влюбился в несвободную женщину, Яэль уже пять лет как была замужем, и по всем признакам это был брак по любви. И любовь не ослабела с годами. Чувство любви возвышает, но что же? Как же? Я буду третьей гранью? Что скажет Яир, этот симпатичный, вежливый и тактичный мужчина? Мне сделалось страшно. Очень страшно. Яир тихий спокойный человек, я ни разу не видел, чтобы он вспылал, он неспособен схватить ружье и застрелить того, кто вяжется к его жене. Но как-то он все-таки должен отреагировать? Может, пригласит меня на чашечку кофе и скажет: «Убери свое копыто с моей жены»? Мы живем не в Сицилии, однако тут есть чего страшиться. Я попросил Яэль побеседовать с ним. Адам Айнзаам не профессиональный соблазнитель, не тот наглый тип, что расшатывает устои семьи. И не следует забывать: я еще несу на себе клеймо не самого здорового в этом мире человека. Может, я покажусь Яиру опасным? Что-то должно случиться. Возможно, что-то серьезное. Мне придется мобилизовать все свое мужество, чтобы устоять в предстоящей буре.

Прошел день, минули два дня. Мы встретились с Яэлью и с Яиром, поговорили о работе и учебе, я приготовился к неизбежному и страшному. Запланировал,

что, если действительно что-то случится, перейду в другой университет. Думал, что вот-вот произойдет мое изгнание. Должно произойти. Но дни летели за днями, и ничего не менялось: Яир продолжал много и тяжело работать, он жаловался на помощников и на налоговое управление. В свободную минуту посвящал меня в свои математические расчеты, которые позволят ему приоткрыть завесу над будущим. «Все течет», — говорил он мне иногда, словно подытоживая свои рассуждения. Ничего так и не случилось. Я подозревал, что тарелки летают по маленькой кухоньке, но на лицах Яэли и Яира не было ни ран, ни царапин. Наконец я спросил ее:

— Ну, ты сказала ему?

Она ответила:

— Да.

Я спросил:

— И что же?

Она ответила:

— Ничего. Что он, по-твоему, должен сказать?

И тогда я впервые осознал, что Яэль и Яир самые великие люди, каких я встречал в своей жизни, и это убеждение я пронес с собой до настоящей минуты, той самой, в которую пишу эти строки.

В те дни я много размышлял о любви. Что такое любовь? Сущность, характер и формы выражения любви занимали мысли людей во всех поколениях. Ею вдохновлялись поэты и писатели, историки описывали ее каверзы и трагические последствия, а простой народ слагал о ней баллады. Философы классифицировали ее виды, нейрологи измеряли силу ее воздействия. В последнее время ею занимаются и врачи, и химики, и биохимики, и психологи, и нейропсихиатры, и исследователи мозга. Основаны учебные центры и исследовательские институты по изучению этой эмоции,

существующей даже у самых примитивных животных. На помощь призваны различные таблицы и диаграммы, сложены тысячи песен, сняты тысячи фильмов, пытающихся раскрыть ее тайну. Почему и каким образом возникло это чувство? Что оно творит с нашим телом и что проделывает с нашей душой?

Люди влюбляются во всякое время и во всяком месте: в роскошных дворцах, в благоуханных садах, на палубах пароходов, в салонах самолетов, на пышных балах и во время азартной охоты, в унылых конторах, в заводских корпусах, во время самых прозаичных занятий, в рабочих общежитиях и даже в магазинах. Люди влюблялись на развалинах разрушенных войной городов, в очередях за выдаваемым по карточкам хлебом, в благотворительных столовках для инвалидов. Влюблялись возле труб крематория в лагерях уничтожения, в последний миг перед тем, как их тела будут сброшены в общий ров. Это чувство существовало изначально и будет существовать всегда. И, как греческий титан Атлас, несущий на своих плечах весь мир, это чувство несет в себе неисчерпаемые жизненные силы тела и души. Несмотря ни на что.

Я перестал бояться моего нового статуса, но меня продолжало грызть опасение, как бы это двусмысленное положение в один прекрасный день не надоело Яэли, как бы она вдруг не отказалась от меня. Тревога по поводу возможности столь ужасного отчуждения, ожидание неизбежного разрыва вызывали постоянные волны страха. Страх низвержения в мрачную пропасть с сияющих горных высот. В одно из утр января 1978 года, стоя возле газетного стенда, я вдруг почувствовал себя плохо. Горячая дрожь прокатилась по телу, в глазах потемнело. Я попросил одну из девушек присмотреть за товаром, а сам решил пройтись по кампусу до здания медицинского факультета и дальше, к Музею диаспоры. Вернулся

я часа через два очень утомленный. Яэль обратила внимание на мою бледность и спросила: «Что случилось?» Вместо ответа я закрыл лицо руками и разразился горькими рыданиями. Вокруг было много народу, студенты и еще какие-то люди. Яэль подвела меня к ближайшей каменной скамье, глаза мои были закрыты, я ничего не видел. Я чувствовал, как ее длинные прохладные пальцы гладят мои волосы. Она протянула мне бумажный носовой платок, потом принесла стакан черного кофе. Она утирала мои слезы и бормотала: «Адам, я здесь, я не оставлю тебя». В этом успокаивающем бормотании было что-то, чего я никогда не удостоивался прежде — за все время, что живу на свете.

Мы сидели на каменной скамье напротив корпуса «Шарет». Впервые я держал ее руку в своей не в обычном пожатии при встрече или прощании, а потому что она напивала меня ощущением силы и веры. Впервые с тех пор, как я встретил ее, она выглядела не столь уверенной в себе. Сидела возле меня молча, пока я не успокоился окончательно. Я читал в ее взгляде множество оттенков различных чувств и переживаний. Не было обычных сияющих улыбок, но сочувственный взгляд сообщницы. Он как бы говорил: «Адам, у нас общая судьба».

Я очень устал и понимал, что мне следует встать и удалиться. Вдруг из здания «Шарет» вышел высокий человек с проседью в волосах, одетый в хороший костюм. Яэль живо поднялась и о чем-то заговорила с ним. Его щеки и широкие скулы были выскоблены до синевы. Взгляд показался мне скорбным, но вместе с тем и надменным. Было видно, что он умеет повелевать. Я вдруг со страхом предположил, что это психиатр, но он улыбнулся мне и, продолжая беседовать с Яэлью, принялся просматривать газету. Яэль представила нас друг другу: «Адам, познакомься с профес-

сором Авраамом Зибенбергом, моим отцом». Вот как! Отец Яэли — один из ведущих руководителей университета. А она ни разу не заикнулась об этом! Я знал, что ее родители разведены, но имя отца никогда не упоминалось. Теперь я узнал, что он, профессор музыковедения, оставил семью ради своей ассистентки, моложе и его, и матери Яэли на двадцать лет. Мать пыталась покончить собой, но Яэль случайно зашла домой и спасла ее, теперь она приходит в себя. Яэль сумела убедить ее, что у нее есть собственные таланты и способности. Отцу она сказала, что не заинтересована в общении с ним и не желает ни видеть его, ни получать от него какую-либо помощь — ни в каком виде. Удивление от этого неожиданного открытия избавило меня от остатков моей удрученности.

С того дня я, как преданный щенок, сопровождал Яэль во всех ее передвижениях по кампусу. Рассортировав большие тюки газет, она смотрела на меня и спрашивала: ты идешь? Что значит — иду? Я готов был бежать, лететь, следовать за ней на крыльях. Мы продолжали беседовать обо всем на свете, но все чаще и чаще наши разговоры заканчивались словами: «Я люблю тебя, Яэль». Я не мог обойтись без этой фразы. Ее тихий голос, ее фигура, чистое чувство и откровенность, которые соткались между нами, струились в моих жилах, как кровь, как вино.

Я поверял ей такие вещи, о которых никто на свете не слышал от меня прежде. Рассказывал о квартале Шапира в Тель-Авиве, где впервые открыл глаза, о родителях. И она рассказывала мне о иерусалимской Рехавии, о разводе родителей и об их с Яиром жизни.

Поведала, например, как во время одной из ее прогулок по Тель-Авиву ее взяла в кольцо компания юных шалопаев и как та же компания потом провожала ее домой, словно некий почетный караул. Ничего

особенного — она просто приветливо поговорила с ними и поинтересовалась каждым из них.

— Я обращаюсь с людьми как с лошадьми или собаками: если ты приближаешься к незнакомой лошади или собаке со страхом, они нападут на тебя, ведь и они боятся чужака, но если ты приветливо заговоришь с ними, приблизишься осторожно, но с лаской, с доверием, есть большой шанс, что не набросятся и даже пожелают подружиться, — объяснила и улыбнулась, довольная собой.

Меня смущала ее наивность. Я опасался, что кто-нибудь воспользуется ее доверчивостью со злым умыслом. Просил, чтобы она не ходила по ночам одна.

Мои отношения с Яиром упрочились, мы вместе заправляли делами киоска, но никогда я не признался ему, что люблю его жену. Скорее всего, потому, что стыдился, стыдился произнести такие слова. Однако не трудно было догадаться, что он и так все понимает. Его взгляд, казалось, говорил: для чего тебе это? Но сам он помалкивал, никак не комментировал ситуацию и ни о чем не допытывался. И я в сердце своем был благодарен ему за это. Я перестал обедать в студенческой столовке и начал питаться вместе с Яэлью и Яиром в вегетарианской столовой. Яэль говорила, что нельзя есть мясо, это безнравственно, это зло, это плохо! Нельзя быть человеком разумным и поедать плоть животных — это несовместимые вещи. Я любовался ею. Глядя, как она орудует ножом и вилкой, радовался, как мать, которая наблюдает, как ест ее дитя. Мне все в ней нравилось, в том числе и ритмичные, спокойные движения ее челюстей во время еды. Закончив трапезу, она обычно произносила: «Теперь я не голодна». Эта фраза наполняла меня счастьем, таким безмерным счастьем, которое невозможно передать словами.

Отправляясь куда-нибудь по делам, мы заодно и прогуливались без всякой цели. Добредали до фа-

культета естествознания и рассматривали плавающих в аквариуме рыбок. Это напоминало ей Эйлат. Усаживались отдохнуть на каком-нибудь газоне. Заглядывали по дороге в отдел копирования — поинтересоваться новыми книгами, выставленными на продажу. Она с симпатией принимала мои чувства и рассуждения, одобряла форму, в которой я их высказывал. Во время наших совместных прогулок я подчас не мог удержаться от того, чтобы взять ее руку в свою и поцеловать. Однажды попросил, чтобы она наклонила голову, и поцеловал ее в лоб и волосы. В этот миг я испытал бурный восторг, вознесший меня в горние выси, и мощную потребность, перед которой не мог устоять, ощупать кончиками пальцев ее лоб, щеки, нос, коснуться подбородка.

Однажды я решил, что жалко тратить время на посещение столовой и захватил из дому два бутерброда. Она сидела на одной из университетских скамеек. Я пристроился у ее ног и, покончив с бутербродами, обхватил руками ее коричневые туфли. На одном из них была полустертая надпись, я провел пальцем по буквам. Яэль повернулась ко мне и с высоты скамейки улыбнулась своей сияющей улыбкой. Оливковые искры полыхнули между раздвинувшихся губ. Они порхали, устремлялись друг к другу, прикасались и не прикасались. В них было что-то невероятно соблазнительное. Сильнейшее упоительное переживание. Яэль казалась мне бриллиантом, утопающим в бархате. Нескончаемый сон наяву.

Знакомые и друзья не могли не заметить пылких взглядов, взволнованных прикосновений, застенчивых ласк, но ничего не говорили. Однажды, когда мы остановились возле книжной полки в копировальном отделе, продавец заметил ехидно:

— Я вижу, твой телохранитель тоже прибыл с тобой.

Меня затрясло от гнева, но Яэль сказала, когда он вышел:

— Он вообще-то не вредный тип. — И этим выразила свою позицию по отношению ко всем, кто позволял себе делать замечания подобного рода.

Весь тот период я находился в состоянии крайнего напряжения. Мне казалось, что я надоел ей, чувствовал надвигающийся разрыв. И однажды снова разразился рыданиями. На этот раз напротив черного хода студенческой столовой. Истерика довела меня до полного изнеможения. Я хотел предложить прекратить нашу связь и не осмелился. В ее взгляде читалась жалость. Она позволила мне взять ее за руку, и я тут же пришел в себя. Но состояние мое продолжало ухудшаться. Пришлось обратиться в университетское Отделение психологической помощи. Заведующий отделением побеседовал со мной и попытался как-то «образумить» накал моих чувств.

Я частенько посещал Яэль у нее дома. Однажды в дождливый декабрьский день мы сидели вдвоем у них на кухоньке и прихлебывали чай из стаканов. Помню контраст между мрачной, удручающей серостью снаружи и ласковым теплом дома, блеском ее черных волос и, главное, ее нежным курлыканьем. Этот голос уже сделался частью меня, утешал и успокаивал. Я не мог представить своей жизни без него. С большой любовью я вспоминаю эти счастливые мгновения.

Яэль сделалась для меня таким дорогим человеком, что я вдруг начал всерьез опасаться, как бы она не умерла. Она, по своему обыкновению, объявила это вполне нормальной реакцией, и всякий раз, когда у меня начинался приступ паники, старалась разобраться в моем состоянии, убеждала смотреть на вещи проще и несколькими логичными и практичными словами умела подавить тревогу. Казалось, что кроме ис-

кренней симпатии, которую она испытывала ко мне, тут присутствовало что-то еще. Очевидно, она считала своим долгом помогать мне, и отдалась этому, как было ей присуще, полностью, всем своим существом.

Яэль хотела сделать мне подарок ко дню рождения, который приходится на одиннадцатое января, и решила взять меня в Тель-Авивский музей на еще один концерт. На этот раз мы должны были отправиться туда только вдвоем. Несмотря на все понимание и дружелюбие, которые демонстрировали ее близкие, я стеснялся выражать свои чувства по отношению к ней в их присутствии. Не мог же я гладить и целовать ее, когда Яир находился рядом — по меньшей мере, это было бы расценено, и справедливо, как ужасающее отсутствие вкуса и такта. Хотя он знал об этих ласках и поцелуях.

В ясный и холодный вечер мы снова проделали путь от дома Яэли до концертного зала, который на этот раз располагался в музее. Широкие улицы были пустынные, неоновые огни выглядели застывшими. Глядя на ее быструю ритмичную ходьбу, я чувствовал, что сгораю и таю от лихорадочных ощущений. Билет стоил шестьдесят лир. Сообразив, что она собирается заплатить за меня, я застыл на месте и сказал: что ты делаешь? Это же бешеные деньги! Но она отмахнулась от моих возражений и заплатила за нас обоих. Зашла внутрь, я за нею. Все этажи здания были залиты ослепительным светом. Мы спустились на нижний уровень, где проходила выставка ранних работ Шагала. Российская действительность начала двадцатого века. Колоритные персонажи его родного и любимого Витебска. Свежесть изобразительного языка, сказочность и метафоричность бытовых сюжетов.

Мы оказались единственными посетителями. Не спеша передвигались — каждый сам по себе — от картины к картине. Я смотрел не столько на Шага-

ла, сколько на нее. Вот она поправляет ниспадающие тяжелой черной волной, блестящие под светом электрических ламп густые волосы. Куртку держит на руке. В том, как она переходит от картины к картине, тоже проявляется ее сущность: спокойствие, доверчивость, человеческая и женская стойкость, верность в дружбе. Казалось, нет в мире такой силы, которая способна поколебать ее убеждения. Она разглядывала картины, а я смотрел на нее.

Концертный зал был небольшим, кресла обиты голубым. На сцену вышли музыканты Камерного оркестра в торжественных черных костюмах. Я попеременно переводил взгляд с оркестрантов на Яэль. Она сидела стройная и красивая. Мне хотелось, чтобы это мгновение продолжалось вечно. Она почувствовала мой взгляд, исполненный безграничного преклонения и готовности в любую минуту умереть за нее, и слегка пошевелила губами — выразила свою благодарность. Движение, которое, возможно, заметил только я, но оно было для меня всем на свете, целым миром. Я до сих пор погружен в это очаровательное воспоминание, в эту минуту вижу ее, сидящую рядом со мной, и никогда не перестану видеть.

Первым представленным нам произведением было «Музыкальное приношение» Баха. Звуки взвивались и ниспадали феерическими пассажами — веревочные лестницы, возникающие вдруг в ночных видениях брошенных в яму людей. Ангелы спускаются и восходят по ним, искушают спящего, приглашают усесться верхом на их спины и, как на маленьких лошадках, поскакать наверх, на волю, к кругу света над головой. Я соглашался, соглашался со всем, что говорил Бах, после каждой музыкальной фразы хотел воскликнуть: правильно, правильно, истинно так!..

Потом исполнили Второй секстет Брамса. Я был уже не столь сосредоточен, но чувствовал, что Брамс

рассказывает мне о чем-то огромном, судьбоносном, возвышенном и увлекающем, что он приглашает меня встать на вершину скалы и броситься оттуда вниз, в бушующий водопад, вокруг которого расстилаются бескрайние зеленеющие поля, нежные, как бархат. Мной овладела уверенность, что Брамс был влюблен, подобно мне, когда сочинял это произведение. И я благодарил его за то, что он приобщил меня и весь мир к этому потрясающему переживанию.

Я проводил Яэль домой. Была ясная лунная ночь, залитая желтоватым светом. Яэль рассказывала, что часто посещает подобные культурные мероприятия, иногда с мужем, иногда одна. Когда я поделился с ней своими волнениями по поводу ее одиноких ночных прогулок, она сказала: «Я всегда соблюдаю определенную дистанцию от ограды домов, и, кроме того, всегда найдется джентльмен, который придет мне на помощь, если потребуется».

Всю дорогу от музея до ее дома мы оставались наедине посреди пустой улицы, в совершеннейшей тишине зимнего города. В этой тишине я распростился с ней и отправился восвояси. Пламенеющая луна проливалa сказочный свет на спящий город и на мою любовь.

Кое-как, без особого желания, я продолжал занятия. Сократил количество академических дисциплин. Проводил время возле киоска и в прогулках по кампусу. Однажды я сказал ей: ты очень красивая женщина, ты самая красивая женщина из всех, каких я видел в своей жизни. Она улыбнулась и слегка покраснела. Мои слова были приятны ей, и мне было приятно их произнести. Но припадки истерических рыданий продолжались и сделались более продолжительными. Я боялся, что она не сумеет выдержать груза моих эмоций и однажды попросту скажет: оставь меня. Но еще

сильнее я боялся, что она умрет. Она имела обыкновение ездить в конце недели в Иерусалим, навещала мать. Воображение мое рисовало страшные картины: дорожную аварию, в которую она может попасть, и прочие ужасы. Я предвидел неизбежные несчастья и знал, что без нее для меня попросту нет жизни.

Однажды в феврале, в сумерках, мы сидели возле киоска. Фонари на территории университета еще не зажглись, недвижимый зябкий воздух и унылая тишина наводили тоску. Яэль выглядела слегка рассерженной. У нее что-то не ладилось с учебой, она рассказала о лекторе, взявшем за обыкновение заманивать студенток к себе в постель, давая понять, что это условие получения более высокой оценки. Она сообщила об этом тем игривым тоном, каким обычно рассказывают неприличные анекдоты. Добавила, что этот поганец возлагал и на нее подобные надежды, но, поскольку она отказалась, затаил обиду и теперь попытается отомстить. «Если не сумел поиметь меня таким образом, прижмет на экзамене». И само предположение, и форма, в которой оно было выражено, показались мне странными. Я посмеялся, когда она с иронией отнеслась к своему положению женщины как объекта секса, но по телу у меня пробежала болезненная судорога. До тех пор эта тема вообще не затрагивалась в наших разговорах.

Мы расстались, я зашагал по направлению к копировальному отделу, но вдруг почувствовал, что горло у меня мучительно сжимается и я вот-вот снова зарыдаю. Было шесть часов вечера, я срочно нуждался в поддержке профессионала. В сильном волнении поспешил к Отделению психологической помощи. В первой комнате никого не было. В отчаянье я постучал в дверь кабинета заведующего и вошел, не дожидаясь приглашения. Он прервал телефонный разговор и обернулся ко мне. Я был на грани обморока, дрожал

всем телом и не мог говорить — только указал на стул, как бы спрашивая, можно ли сесть. Он поинтересовался моим именем. Я сказал, что речь идет об интимных переживаниях, о затруднениях, связанных с любовью. Рассказал ему вкратце о моем прошлом. Он заметил с улыбкой, что чувственные стрессы, в особенности касающиеся неудач в любовной сфере, — это самая распространенная тема в клинической практике, и посоветовал не откладывая обратиться к психологу больницы или к частному специалисту, например к профессору Вайнфельду, и заодно передать ему от него привет.

Я вышел из университета нетвердой походкой, с раскалывающейся от боли головой. Слова Яэли скакали у меня в сознании, как неожиданно расплотившиеся шустрые мыши. Идти мне было некуда. Собравшись с силами, я зашагал в стущавшихся сумерках по направлению к дому профессора Вайнфельда в Афеке, не обращая внимания ни на машины, ни на дорожные указатели. Я находился за пределами реальности. Минут через двадцать я оказался возле виллы профессора в Афеке и принялся с силой колотить в дверь. Профессор открыл и спросил с неподдельным испугом: что случилось? Я разразился самыми горькими рыданиями, какие только случались со мной в жизни, и не мог вымолвить ни слова. Он гладил меня по спине, по плечам, пытался успокоить, но очень быстро взял себя в руки и уже официальным тоном велел прийти к нему на проверку завтра вечером. После чего исчез за деревянной коричневой дверью. Я вернулся домой и, ничего не говоря родителям, рухнул в постель.

Назавтра я предстал в указанный час перед профессором Вайнфельдом. Он встретил меня с трубкой в зубах и характерным польским взглядом указал на кожаное

кресло, уже известное мне по моим прежним визитам в его клинику. Взглянул в окно, набил трубку табаком и спросил:

— Что так ужасно? Что случилось?

Я попытался объяснить ему, что некий гадкий презренный тип покусился изнасиловать и убить божественную энергию, воплотившуюся в этом мире в образе Яэли. Что думать про Яэль таким образом — это отвратительное проявление зла и мерзости, угнездившихся где-то за пределами нашего человеческого существования. Стремиться ради удовлетворения минутной похоти к обладанию телом Яэли? Чтобы она — воплощение нежности и всего самого ценного и величественного на земле — стала объектом гнусных посягательств? Это выше моего понимания. Я описал ее фигуру и добавил, что она ангельское совершенство. Как вообще осмелился имярек, мужлан, обладающий половым органом, каким бы ученым он не был, раскрыть свой поганный рот и делать неприличные предложения, извергать выражения, абсолютно недопустимые в любом мало-мальски приличном обществе?

Профессор кое-что записал себе на заметку и сказал:

— Это заурядное житейское дело, нельзя волноваться из-за таких пустяков сверх меры. Подобные вещи часто случаются.

Утром следующего дня я рассказал Яэли о своей беседе с известным профессором. Она усмехнулась:

— Я сама говорила тебе это прежде твоего профессора. Может, заплатишь мне за сеанс терапии?

В тот период я начал делать ей небольшие подарки. Купил книгу Амоса Оза «Мой Михаэль» и снабдил ее дарственной надписью: «С чувством уважения, сердечной любви и со смирением душевным». Но мое либидо думало иначе.

Обнаженная женщина, черная женщина!
Твой цвет — это жизнь, очертания тела — прекрасны.
Я вырос в тени твоей, твои нежные пальцы
касались очей моих;
И вот в сердце Лета и Юга, с высоты
Раскаленных высот я открываю тебя —
обетованную землю,
И твоя красота поражает меня орлиной
молнией прямо в сердце.
Обнаженная женщина, непостижимая женщина!
Благовонное масло, без единой морщинки, масло на теле
атлетов и воинов, принцев древнего Мали;
Газель на лазурных лугах и жемчужины-звезды
на ночных небесах твоей кожи;
Игра и утеха ума; ответ красного золота
на шелковой коже твоей,
И в тени твоих волос светлеет моя тоска
В трепетном ожидании восходящего солнца твоих глаз.
Обнаженная женщина, черная женщина!
Я пою преходящую красоту твою,
чтоб запечатлеть ее в вечности,
Пока воля ревнивой судьбы не превратит тебя
в пепел и прах, чтоб удобрить ростки бытия.

*Леопольд Седар Сенгор, «Черная женщина».
Из сборника «Песнь ночи и солнца».*

Я тверд в своем мнении, что стол, помимо того что является деревянной мебелью на четырех ногах, еще пробуждает ассоциации. Он связан с собраниями, заседаниями и, разумеется, с приемом пищи и праздничными возлияниями. В то же время это и письменный стол: он состоит в родстве с книгами, канцелярскими принадлежностями и обладает прерогативой наблюдать за тобой и упорядочивать твою жизнь в силу специфики своей профессиональной ответственности. У кровати тоже есть иное предназначение, кроме как

служить местом сна и отдохновения перед трудами и заботами грядущего дня.

Не знаю, как описать пробуждение моей сексуальности на фоне наших отношений с Яэлью. Я должен рассказать об этом откровенно, просто, без излишней гиперболизации и напыщенности, но, признаться, до сих пор не встретил человека, который станет говорить о половом влечении так, как он говорит о налогах, воспитании детей или своих планах на конец недели. Когда я открыл для себя сущность Яэли как женщины, очень красивой и привлекательной женщины, ее ноги сделались длиннее, линии плеч отчетливее, а мускулы рук стали намекать на что-то неуловимо волнующее. Я ощутил вдруг волнистую упругость этих густых черных волос. Они стали еще более блестящими и эластичными, начали отбрасывать вокруг ее головы черный сверкающий свет, полный таинственной энергии, пробуждающей тоску и страстное томление. Зеленое в ее взгляде — это я помню отчетливо — сдалось и отступило перед золотым. Глаза вдруг сделались огромными. Фантастически манящие и обнадеживающие улыбки. Духи, которыми она пользовалась, дышали чувственностью и дразнили. Что-то в ней кипело, клокотало, жгло, бросало вызов. Да, вызов. Рукопожатия сделались более продолжительными и передавали мне горестную нервную дрожь. Рука медлила покинуть руку. Когда я сидел у ее ног, близость их вызывала у меня приступ бешеного сердцебиения. Если она слегка нагибалась и открывался промежуток между двумя верхними пуговками кофточка, я едва не терял сознание при виде ее лифчика.

Состояние мое ухудшалось, вождение заставляло меня воображать наготу ее тела. Когда эти видения не отпускали, я пытался стереть их или, по крайней мере, скрыть, проводя ладонью по лицу, но они не исчезали. Неотступные терзания помutilи мой разум до такой

степени, что время от времени я с силой крутил головой из стороны в сторону, словно твердя: нет! Нет! Не хочу! Не могу! Движения эти повторялись по нескольку раз кряду и были настолько резкими, что вызывали пронизывающую боль в шее.

Я рассказал о том, что со мной происходит, профессору Вайнфельду. Он посоветовал не посвящать Яэль в то, что творится в моей душе — попытаться справиться с этим самостоятельно. Предупредил, что, если я сообщу Яэли, как страстно жажду ее и как мечтаю переспать с ней, она просто скажет мне последнее «прости-прощай». Так он выразился.

Я перестал работать, бросил учиться. Страхи, непрерывные опасения за жизнь любимой, сознание, что я не смогу жить без ее дружбы, неодолимое плотское влечение — все это оказалось непосильной нагрузкой для моей психики. Я чувствовал, что выпадаю из действительности. В конце концов я рассказал Яэли о своих переживаниях. В ее ответе за обычным юмором угадывался и деловой подход к проблеме. Прежде всего она объяснила мне, что «такое случается почти со всеми», и устало добавила, что «в некоторых местах» это даже получило статус легитимного обычая. «Разве ты не читаешь объявлений в разделе “Знакомства” в газетах? Или ты полагаешь, что пара, подыскивающая другую пару, делает это с целью совместного посещения кино?» Голос ее звучал совершенно обыденно, улыбка была приветливой и обещала продолжение дружбы.

Каким-то образом эти вещи стали известны Яиру. Его реакция была сдержанной. Взгляд его говорил: зачем тебе все это? Не лучше ли будет найти себе подружку, свободную от каких-либо обязательств? Но он не произнес ни слова и продолжал посвящать меня в свои математические изыскания с целью предсказания будущего. Он также сообщил мне, что ближайшим

летом они с Яэлью собираются поехать в Европу и, словно между прочим, добавил:

— Следовательно, мы не сможем видеться больше трех месяцев. Ты должен быть готов к этому.

Встретившись назавтра с Яэлью, я попросил ее:

— Скажи Яиру, что я люблю его.

Визиты в психиатрическую лечебницу становились все более частыми, я обдумывал вариант самоубийства. Когда я видел ее или его, ноги у меня слабели и голова начинала кружиться. Однажды я пережил нечто совершенно необычное, в результате чего впал в сильнейшую панику. Я сидел на некотором расстоянии от нее и вдруг почувствовал, что глаза мои набухают и раздуваются до огромных размеров. Она позвала меня пересесть поближе, но я спасся бегством. Было принято решение о госпитализации.

Я прибыл в больницу ясным зимним днем. В воздухе ощущалась какая-то расслабляющая нега. Теплое солнце, высокие зеленеющие деревья, цветущие кустарники. В маленьком кабинете на третьем этаже меня ждал симпатичный «русский» доктор. Предложил сесть. Открыл медицинскую карту и записал мои данные. Расспросил о самочувствии, о течении болезни, группе крови, образовании. Потом сказал:

— Итак, тебя привели сюда любовные неурядицы, вернее, эмоциональный срыв на фоне отношений с замужней женщиной. Как я понимаю, ты любишь ее. Скажи, пожалуйста: считаешь ли ты, что она тоже любит тебя?

Я ответил вполне откровенно:

— Доктор, мы хорошие друзья, и она подарила мне самую лучшую пору моей жизни. Любовь она должна дарить своему мужу. — И прибавил: — Я надеюсь, мне не будет запрещено навещать ее и впредь.

Доктор сказал:

— Никто не запретит тебе навещать ее.

На следующее утро я был представлен молодому врачу, блондину с карими смешливыми глазами. Это был настоящий атлет, облаченный в кремовую форму военно-воздушных сил, на которой красовались «крылышки» десантника и еще какие-то знаки различия, очевидно «крылышки» летчика. На синих погонах возлежали три оливковые веточки капитана военно-воздушных сил. Они же украшали кокарду на околыше его фуражки.

Он признался, что еще не успел ознакомиться с моей историей болезни, и попросил, чтобы я вкратце пересказал ее. Я выполнил, насколько мог, его желание, продемонстрировав в своем изложении незаурядное чувство литературного стиля. Похоже, это произвело на него впечатление. Моя речь несколько не напоминала отчаянный и ненавистный эскулапам скулеж большинства больных. Я рассказал ему про Яэль, про свою любовь и про замучившие меня страхи. Он велел мне приглядеться к цветению огненного дерева за окном. И когда я уже готов был разрыдаться, сказал: «Красные цветы цветут снаружи». Это помогло мне успокоиться.

Кабинет был белым и почти пустым. Мы сидели возле казенного канцелярского стола, заваленного синими папками с историями болезни. Фуражка с кокардой лежала на узкой кушетке напротив. Он поделился со мной своими впечатлениями от нашего знакомства, в особенности его поразил поклон, который я отвесил ему, соглашаясь быть его пациентом. Сказал, что это был чрезвычайно изысканный поклон и несколько раз повторил: «Польский аристократ». Спустя несколько дней он ознакомил меня с моей историей болезни, показал все записи и результаты обследований. Он хотел знать, подтверждаю ли я изложенные в них факты. Я прочел и кивнул: «Верно, верно». В резюме высоко

оценивались мой интеллект и способность к самовыражению, но постоянно повторялось слово «шизофрения». После нескольких бесед со мной молодой доктор сказал:

— Если бы я удовольствовался прочтением заключений о твоём состоянии, составленных моими коллегами, то был бы уверен, что ты шизофреник. Теперь я уверен, что ты не являешься таковым.

Он повторил: «Ты не сумасшедший», и это были последние слова, которые я услышал от него при нашем расставании через несколько дней.

Он был призван в армию. Я думал, что его отправили на ливанскую границу, поскольку обстановка там была весьма напряженной. Я начал опасаться, как бы он не погиб. Видя, что он никак не возвращается, я зашел в его кабинет, присел на кушетку и разразился рыданиями. Тут раздался какой-то шум, дверь распахнулась, и он вошел. Я закричал: «Ты жив!» и бросился ему на шею. Он попытался успокоить меня.

Этот врач сделался для меня, после Яэли и Яира, главным человеком в жизни. Я обращался к нему «командир» или «капитан». Он разделял со мной все мои горести: чувство безнадежной любви, страх смерти, безумие страстного влечения и удрученное состояние. Он обладал той чудесной душевной силой, которая окрылила и спасла меня. Он вернул мне надежду, вселил веру в возможность настоящей дружбы и посвятил мне больше времени, чем любому другому больному. Я превратился в «его помощника».

Я рассказал Яэли о том, что пережил в психиатрической клинике. Возможно, она ощущала некоторую вину за то, что из-за наших отношений мне пришлось прервать занятия, но тут же встрепенулась и сказала: «В конце концов, это не первая твоя госпитализация», и легонько прикоснулась кончиками пальцев к моей руке. Так она прикасается к Яиру, когда разговаривает

с ним, нежно поглаживает и улыбается. В этой улыбке столько любви, столько симпатии! Насколько мне известно, подобного прикосновения не удостоился ни один другой мужчина из ее многочисленных университетских друзей. Все терзания в мире были искуплены этой лаской!

Пока в университете в рамках изучения спряжений латинских глаголов занимались будущим временем и приступали к написанию курсовых работ, я коротал время в психоневрологическом диспансере. Там я встретил сына одного из самых могущественных в стране финансовых воротил. Это был парень девятнадцати лет, постоянно пребывающий в полусонном состоянии и по большей части не способный ни к какому мыслительному процессу. Мне довелось наблюдать, как его мать, роскошная женщина из высшего общества, помогает ему освободиться от штатива для инфузии и пытается разговорить его. Можно было видеть, что кровь коченеет и свертывается у нее в жилах, когда она занимается этим.

Я помещался на третьем этаже здания, где приблизительно двадцать пациентов различных возрастов плели корзинки и табуретки из пальмовых волокон и клеили коробки из картона и бумаги. Трудотерапия. Мне предложили пройти тест Роршаха. Результаты не удовлетворили членов медицинской комиссии, и меня пригласили в комнату совещаний, снова показали листы с пятнами Роршаха и принялись допытываться: «Не напоминает ли тебе это пятно хобот слона? Почему это пятно не ассоциируется у тебя с формой полового члена?» Я вскипел от негодования.

Поскольку ткацкий станок был свободен, я решил заняться изготовлением шерстяного ковра. Разумеется, он предназначался Яэли. Я тщательно выбрал образец. Посоветовался с руководительницами проекта и

остановился на трехцветном (лимонном, фиолетовым и черном) полосатом ковре размером двести сантиметров на восемьдесят. Полосы должны были быть разной ширины.

В психоневрологическом диспансере, этом эпицентре всяческого страдания, отчаяния, окончательного жизненного поражения и душевного распада, в атмосфере бреда, бессвязного бормотания безумцев, отдыхающих после процедур, между приемами лекарств и приступами истерик и рыданий, я создал удивительный художественный шедевр. Шерстяные нити протягивались в ткацком станке, нить за нитью, и каждая обогащала мой мир. В тот месяц я сумел преодолеть тяготы пребывания в лечебнице и враждебность родительского дома с помощью завладевшей мною идеи: закончить ковер и преподнести его Яэли. Я работал каждый день по четыре часа и почти ни с кем не разговаривал. Монотонный труд, с небольшими перерывами. Медицинский персонал и студенты-практиканты останавливались против полотнища и спрашивали: «Чья это работа?» Изделие было прочным, добротным, идеально ровным и одинаково безупречным и с лицевой стороны, и с изнанки.

Моему дорогому доктору я рассказал о Яэли, о себе, о моих припадках, но также и о двух концертах, ставших важными вехами в моей жизни. Мы обсудили природу любви, сущность надежды, смысл и вкус борьбы. Я посвятил его в мои исторические интересы, поэтические предпочтения и поделился своей заветной мечтой: прочесть какую-нибудь книгу до конца. Я знал: если мне удастся прочесть хоть одну книгу до конца, я опять буду здоров. Иногда наши беседы прерывались приступами рыданий. Я описывал Яэль, душевную стойкость этой женщины, рассказал о Яире и о его странном, не лишенном доли недоверия, великодушии.

Ковер понемногу рос, произведение было почти готово. Оно наделило меня стойкостью выдерживать тягостные коллективные беседы, проводившиеся в утопающей в сигаретном дыме комнате, в атмосфере вынужденного безделья и человеческой немощи, истерик и общего упадка сил. Было что-то особое в том обязательстве, которое я взял на себя. Упорство в исполнении этой задачи стало залогом моего выздоровления.

В конце марта я снял готовый ковер со станка. Прекрасная шерстяная ткань оттягивала своей тяжестью руку. Когда я чистил ее щеткой, у меня возникло ощущение, что Вселенная наполняется кругами трепещущего света. Свернуть такой товар и стянуть веревками была непростая задача, но и с этим я справился. Двумя автобусами доехал до дома Яэли. Она как раз вернулась из парикмахерской, волосы ее были красиво уложены и выглядели так, словно все еще оставались влажными. Я раскинул ковер на полу и всем телом ощутил ее изумление. Это мгновение стоило всех страданий, всех неурядиц, всех домашних обид и притеснений. Яир взглянул на ковер и произнес: «Ты ненормальный!» До тех пор мне не случалось слышать этих слов в качестве комплимента. Я и теперь вспоминаю их с любовью и улыбкой.

Даже в период регулярных посещений диспансера я продолжал по временам составлять компанию Яэли и Яиру. Я присоединялся к ним в их поездках в город, когда они отправлялись туда улаживать денежные вопросы. Они умело заправляли своим бизнесом. Яэль заходила в одну из контор по продаже билетов, и я наблюдал спокойную, трезво оценивающую обстановку деловую женщину в больших солнцезащитных очках, соответственно одетую и с подобающей случаю прической. Серьезность и уравновешенность. Я садился на скамью в глубине конторы, и сердце мое истекало любовью к ней.

Это были мартовские и апрельские дни, теплые и прозрачные. Политические усилия обеспечили спокойствие. Тель-Авив был залит чистым солнечным светом, заставлявшим сверкать окна автобусов и витрины больших магазинов на улицах Алленби и Дизенгоф. Публика двигалась по тротуарам, заполняла кафе под открытым небом, потягивала напитки и играла в шахматы. Удивительно невесомые сумерки опускались на большой город. Наши совместные прогулки, как правило, совершались в те часы, когда день и ночь сливаются в дивной, сводящей с ума гармонии цветов и запахов.

По пятницам, когда диспансер был закрыт, я стал посещать университет. Он был почти пуст в этот сезон. В эти белёсые, подернутые легким туманом утра мы оставались вдвоем возле входа в корпус «Шарет». Разговаривали. Иногда я позволял себе дотронуться до ее руки. Обычно я приносил ей букетик красных и белых цветов, она принимала их с тем особым смешком, который прорезал милую морщинку возле ее носа и заставлял щуриться зеленые глаза. Я был счастлив.

С Яиром мы беседовали на политические темы. В те дни он ждал — ждал и пылко, от всей души надеялся, что вот-вот свершится какая-то космическая мистерия, которая принесет избавление всему нашему миру, и «в том числе обитателям корпуса “Шарет”». Это его слова. Такие разговоры вызывали у меня чувство жалости к этому молодому мужчине, которого я любил всем сердцем. Я и сегодня люблю его. Наши беседы я так и заканчивал: «Я люблю тебя, Яир». В шелку под входной дверью в их квартиру я подсовывал записки с этими словами, когда не заставал их дома.

Вечером мы вместе ехали домой на автобусе — они до центра города, а я до центральной автобусной станции. Я чувствовал, что хочу увековечить те мгновения, когда автобус въезжает на мост через Яркон и пово-

рачивает к Тель-Авиву. Я знал: недалек тот день, когда все это обратится в легенду, и пытался запечатлеть в своем сознании каждый локон в ее прическе, каждую искру в глазах, точный оттенок ее одежд. Под конец они спохватывались: «Есть ли вообще дома еда?» Я смотрел на них, сидящих в обнимку на соседнем сиденье, и впитывал их голоса, особый тон разговора, жесты. Автобус пересекал город с севера на юг.

По средам они устраивали стирку. Я помогал Яэли тащить сумку с бельем в прачечную в студенческом общежитии. Однажды, когда в ожидании окончания работы стиральной машины она читала «Моллоя» Сэмюэля Беккета, я заметил, что быстрый отжим может повредить некоторым вещам.

— Ну и что? Я тоже умру, так пускай вещи погибнут прежде меня, — откликнулась она задорно.

Она знала о моем вождении к ней. То притяжение, утонченное и властное, которое я испытывал к ней, витало в воздухе, которым мы оба дышали. Она не видела в этом ничего противоестественного и деликатно, с чуткостью и интеллигентностью, которые свойственны лишь немногим женщинам, умела обратить его в нечто иное, цельное и чистое. Когда мы говорили на эту тему, она едва ощутимо прикасалась кончиками пальцев к моей руке и улыбалась.

Яэль любила балет и даже приобрела несколько книг, посвященных этому искусству. Она записалась в балетный кружок — не для того, чтобы выступать на сцене, а чтобы «пропитаться атмосферой». В один из мартовских дней 1978 года появилось сообщение о предстоящих гастролях балетной труппы из Штутгарта. Она словно помешалась. Ей посчастливилось достать несколько пригласительных билетов на два выступления, и она решила взять с собой Яира, Тирцу и меня. Показать нам, что такое настоящий балет. «Это

самая замечательная труппа в мире», — не уставала она повторять. Каждый билет, по понятиям тех дней, стоил немалых денег. Мы договорились, что я приду к ней домой. Было тринадцатое марта 1978 года.

Пришло время рассказать о тех событиях, воспоминание о которых и теперь наполняет меня стыдом. Но я делаю эти записи в первую очередь для самого себя и ради успокоения своей души. Не стоит бояться прикосновения к самым неловким моментам собственной жизни — пусть даже они заслуживают порицания.

В тот пряный весенний вечер мы сидели у нее на кухоньке и с удовольствием болтали о разных разностях. Наконец Яэль решила, что пора ей пойти одеться, а чтобы я не скучал в ее отсутствие, шаловливо подмигнув, сунула мне в руки «Плейбой». Совершенно голые девицы действительно были весьма занимательны, а в квартире Яэли они казались еще во сто раз интереснее. Задумавшись, я перевел взгляд со страниц журнала на потолок, потом на выкрашенные в коричневый цвет шкафчики, на кухонный столик. На столике лежала уже распечатанная пачка какого-то лекарства. Я протянул руку и заглянул в нее. Внутри оказалось несколько небольших зеленых капсул. Темно-зеленых. Приложенный к ним сопроводительный листок сообщал, что это противозачаточное средство. Меня окатила волна жара и холода. Я почувствовал, как лицо мое заливается краской и пылает. Кожа горела, сердце трепетало. «Плейбой» выпал у меня из рук. Я вернул капсулы в упаковку. Взгляд мой затуманился и померк. Я проковылял в уборную. Белёная жидкость, подобная йогурту, залпом вырвалась из моего тела и забрызгала сиденье унитаза. Продолжая дрожать и обливаться потом, я обтер сиденье туалетной бумагой. Спустил воду и спасся бегством в ванную комнату. Подставил лицо под струю холодной воды. В зеркале отразились бледная, перекошенная физиономия, на-

дутые вены на шее — можно было подумать, что я только что завершил тяжелый боксерский бой.

Спустя несколько минут мы шагали по направлению Дворца культуры. В этот теплый весенний вечер я пережил истинное наслаждение от прикосновения к высокому искусству. Невесомые танцоры были одеты во что-то ослепительно белое. Воздушные па они выполняли с божественной естественностью. Огни, запах духов, даже мужские костюмы — все заливало меня теплым дурманом.

Одна из сцен представляла молодого ухажера, вновь и вновь обращавшегося с пылкой мольбой к возлюбленной, застывшей на стуле в неподвижной позе. Он всячески пытается доказать ей свою любовь, не скупится на восторженные похвалы, преподносит цветы, но она не реагирует. Все его усилия напрасны, балерина встает, не спеша, без единого слова, пересекает сцену и исчезает. Эта миниатюра продолжалась три или четыре минуты, но оригинальное режиссерское решение и простота выражения поразили меня. Я словно окунулся в прохладные воды озера, окруженного со всех сторон могучими деревьями с пышными кронами, склонившимися над его гладью и отражающимися в ней. Ничто из сюжета, кроме этой сцены, мне не запомнилось.

Мои визиты в лечебницу подходили к концу, и зима тоже кончалась. Весна и лето стучались в двери большого города. Месяц по вечерам был окутан туманными испарениями. Первые хамсины, потное тело. Холод позабыт. В конце апреля, а может, это было уже в мае, мы решили пойти куда-нибудь вместе. Яэль хотела посмотреть фильм про балет. Поехали на автобусе в кинотеатр, расположенный в Северном Тель-Авиве. Вестибюль кинотеатра тонул в дыме сигарет. Пыль и духота. Яэль подошла к кассе, чтобы купить билеты, а я стоял возле железных перил, оперев взгляд в землю.

Вдруг я увидел знакомую пару туфель, светло-коричневых с рисунком из дырочек и носами, похожими на лисьи мордочки. Я поднял глаза и увидел профессора Вайнфельда. Он кивнул в сторону Яэли и спросил: «Это она?» Я подтвердил. Взгляд его был теплым и почтительным. Никогда прежде я не видел на лице этого уважаемого человека столь откровенной симпатии. Он пожал мою руку и исчез. Я помню это мгновение и этот взгляд так отчетливо, словно с тех пор не прошло добрых восьми лет.

Яркий, красочный фильм рассказывал об артистах балета и их семьях и был полон жизни и движения. Очаровывали совершенство человеческого тела и красота отношений между молодыми танцорами. Яэль полежала в кресле и упиралась ногами в сиденье впереди. Глаза ее пожирали происходящее на экране. Рот был распахнут, зубы обнажались при виде новых, незнакомых ей фигур танца. Герои фильма занялись любовью, камера сопровождала их и при свете, и в темноте, возбужденный взгляд Яэли метался по экрану, на лице появилась хищная улыбка, полная откровенного восхищения. Я гладил ее плечо, волосы.

Две наши последние встречи состоялись в первой половине июня 1978 года, незадолго до их отъезда в заграничное путешествие. Мы сидели в зале Музыкальной академии в университете. Яэль упражнялась в игре на рояле, стоявшем в углу. Я был единственным слушателем.

— Я бы хотела купить пианино, — сказала она, — но никто не согласится одолжить мне денег. Они согласились бы, если бы речь шла о стенном шкафе, — прибавила она, и взгляд ее сверкнул, словно насыщенный электричеством. Это был тот же сияющий взгляд, возвращающий былое видение, полный фантазий и расплавленного золота.

Она только что разучила небольшую пьесу Шумана, смеялась и упорно воевала с клавишами. С полчаса мы оставались наедине. Стемнело, я зажег свет в зале и выглянул наружу. Под стеной здания зеленел палисадник. Я страшился расставания. Понимал, что лето будет очень трудным. Не знал, как смогу пережить его. Как буду без нее. Печаль моя была глубокой и тягостной. Я находился на грани припадка. Мне хотелось взять ее за руку, встать перед ней на колени, целовать ее туфли. В теплом воздухе сумерек мы вышли на последнюю прогулку по тем местам, которые были свидетелями нашей необычной любви. Корпус «Шарет», здание юридического факультета, корпус «Реканати». На город опускалась тьма, зажглись оранжевые и белые огни. Я весь дрожал. Прильнул к ней, целовал ее руки и волосы. Я не хотел оставаться в этом мире. В это мгновение я желал умереть. Глаза ее лучились теплом и лаской и были такими добрыми. Такими добрыми. Она пыталась успокоить меня.

Но я не успокоился. Я принялся торопливо осыпать нежными настойчивыми поцелуями ее глаза, шею, плечи, тонкие косточки ключиц. Закрыв глаза и ощупывал губами гладкую кожу, под которой трепещет сердце. Обхватил и сжал ладонями теплые, восхитительные груди, явственно ощутил сквозь ткань блузки их округлость. Руки мои дрожали и взмокли. Я пытался уловить ее реакцию, чтобы ни в коем случае не совершить чего-нибудь против ее желания, и всеми силами души молча умолял ее не возражать. Она не возражала. Я скользнул руками под блузку, прополз под лифчик, нащупал пальцами затвердевшие соски. Притиснул свои бедра к ее бедрам. Обнял ее всю целиком и прижал к себе с такой силой, какой никогда прежде не было во мне. «Любовь, любовь моя!» — выдохнул в темную, извилистую, словно свернувшуюся в позу зародыша раковину ее ушка. И лицо, и все мое

тело обливались потом: спина, живот, ноги. Я чувствовал, что весь целиком, без остатка, переливаюсь в нее. Потянул ее в сторону газона, хотел войти в нее там, на зеленой лужайке тель-авивского университета, во тьме, опустившейся на кампус, под сияющим месяцем, под чистым сверканием звезд. Я держал ее за обе руки и пытался увлечь туда, но она не пошла со мной.

— Давай уйдем отсюда, — произнесла мягко.

Назавтра после обеда я в последний раз пришел к ним домой. Все было разобрано и сложено: кухня, гостиная и спальня опустели. Отец Яира и Теила, сестра Яэли, бродили по комнатам и тихонько о чем-то секретничали. Телефон, уже отключенный, стоял на полу. Я помог им составить список книг и упаковать их. Огляделся вокруг. Простился со стенами. Яэль проводила меня до двери и предложила взять на время пластинку «Баллада о Маутхаузене» Теодоракиса. Я пошире раскрыл глаза, чтобы запечатлеть ими как можно больше от оливкового и золотого в ее взгляде. Мы пожали друг другу руки.

Вечером накануне их отъезда мы снова встретились, на этот раз в кафе «Тиволи». День был душный и жаркий, пронизанный порывами опаляющего суховея. Я снова признался ей в своем вожделении. Без малейшего стыда. Она произнесла решительно: я хочу, чтобы у тебя была подруга. Я поцеловал ее в лоб, растроганный тем, как она приняла мое откровение. Она была и всегда будет для меня небесной посланницей, даровавшей мне силы существовать в нашем мире. Я до сих пор плачу, вспоминая то мгновение.

28 июня 1978 года я вышел из ворот лечебницы с твердым намерением больше не возвращаться туда. Через несколько дней после этого я начал работать

рядом с отцом на предприятии «Кабельно-проводниковых сетей» концерна «Кур». Заведующий предприятием подыскал для меня должность в отделе бухгалтерии.

Лето было мучительным. Усилились сердечные недомогания, преследовали ужасные головные боли, постоянные боли в конечностях. Я страдал от любого шума и ходил по городу с затычками в ушах. Ватные ноги, ватные руки. Выписывают различные лекарства, но состояние мое не улучшается. Профессор Вайнфельд утратил всякий интерес ко мне, сделался чужим, далеким, отношения наши испортились, стали холодными, натянутыми, мы обвиняем в этом друг друга. То и дело наваливаются приступы зверского голода. Давление упало до девяности. Обмороки, слезы, истерические припадки. Я не в состоянии одолеть ста метров без того чтобы не присесть отдохнуть. Днем и ночью вызываю врачей, одна «скорая» сменяет другую... Все они в один голос утверждают:

— Ничего нет, ты просто невротик.

Сцены надрывной ненависти со стороны родителей. Никто не верит моим страданиям. Я пытаюсь жить вне дома и снова возвращаюсь. Неспособен самостоятельно справляться с жизнью. Не в силах удерживать кастрюлю двумя руками. Профессор Вайнфельд не желает выслушать, бросает трубку. Я раздобыл особую справку и получил направление в больницу «Бейлинсон», оттуда уже прямая дорога к четвертой по счету госпитализации.

Диагноз: гиперфункция щитовидной железы, признаки сахарного диабета. Тяжелое, изматывающее лечение. Пробирки с кровью, склянки с мочой, уколы, рентгеновские снимки. Кто-то скончался в соседней палате. Одиночество в недрах огромного белого здания. Я брожу по коридорам и хриплым голосом напе-

ваю: «Sometimes I feel like a motherless child». Если бы только я действительно умел петь...

Меня переводят в Центр психиатрической помощи «Геа» в Петах-Тикве. Я обретаюсь тут три бесконечных месяца. Новые лекарства. Состояние не улучшается. Яэль и Яир далеки от меня, они в Европе. От них пришли три открытки. Письмо, которое я отправил им, вернулось. Открытки исписаны тесным маленьким почерком, описывают Париж, Ниццу и Швейцарию. «Думаем о тебе, надеемся, что у тебя все в порядке и ты чувствуешь себя нормально. Будь здоров». Я прячу открытки и целыми днями остаюсь в постели. Каждое движение причиняет невыносимые страдания. Вес 52 кг. Я ни о чем не думаю. Боль сильнейшая, что, если это рак? Глаза мои выцвели, зрачки расширены от ужаса. Люди останавливаются и с испугом смотрят на меня, словно на привидение.

Они вернулись 19 октября 1978 года, когда я уже выпи-сался из «Геи». Я отправился на аэродром встречать их. Они с трудом узнали меня, но и Яэль изменилась — в ней появилось что-то странное. Пополнела, на лице выступили темные пятна. Движения сделались медлительными, разговор неторопливым. Грудь стала больше. Я проводил их до их новой квартиры в квартале Бавли. «Мы сможем видеться?» — спросил я дрожащим голосом. Повисло молчание, которое показалось мне вечностью, страшнее, чем ад Данте. И тут Яэль произнесла с присущей ей естественностью:

— Конечно, почему бы и нет? Мы скоро опять начнем работать в киоске. Приходи.

На лице Яира проступила неторопливая улыбка.

Снова начались совместные прогулки, мы вместе обедали, иногда с Яиром, иногда вдвоем, ели вегетарианские блюда, она без конца рассуждала об уходе за

детьми, о детском питании и воспитании. Однажды купила для меня книгу Виктора Френкеля «Человек ищет смысл» и подарила с посвящением: «Адаму, готовящемуся к осмысленной жизни, от Яэли». Я спросил ее, к чему мы должны готовиться? Она призналась, что беременна. Я опустился на колени, обнял ее ноги, прислонился к ним головой и сказал: «Мамочка, мамочка наша!» Подыскивал слова, чтобы молиться за нее, на нее.

Вечера сделались прохладными. Я чувствую себя гораздо лучше. Прочел некий исторический труд от начала до конца. Слушаю по радио классическую музыку. Езжу в «Гею» на анализы и процедуры, беседую с другими больными, подбадриваю пожилых. По вечерам я звоню матери Яэли, спрашиваю, что слышно. Не хочу беспокоить Яира и Яэль. В один из вечеров так и не дозвонился. Утром мама Яэли сообщила: родился сын, Яэль и младенец чувствуют себя хорошо.

Дождь стучит в оконное стекло и струится по листьям и стволам деревьев в саду. Вокруг расцветают дивные розовые цветы. Пожилой медбрат Иехошуа просматривает вчерашнюю вечернюю газету. В воздухе великое спокойствие.

Я вышел из больничного корпуса и остановился под дождем. Одежда моя мгновенно промокла, ручейки холодной воды стекают по спине. Я закидываю голову, протягиваю руки к небу и возношу благодарение Богу, который отверз мое лоно, явил свое милосердие. Я рыдал как младенец и как младенец обмочил пижамные штаны.

У новорожденного темно-карие глаза, как у Яира, и шатеновые волосики, как у меня. Яэль готовит еду, стирает и гладит пеленки. Она перестала интересо-

ваться балетом и вернулась на юридический факультет. Скоро сдаст экзамены и станет адвокатом. Яир продолжает трудиться в киоске и записался в педагогический институт. Сказал: «Надоело работать с билетами и газетами, хочу поработать с людьми, с человеческими детенышами». По-прежнему пытается предсказывать будущее с помощью математических вычислений. Теила служит в авиации, на военной базе, расположенной поблизости от дома. Она сделалась красавицей, настоящей женщиной. Надеюсь, найдет себе достойную пару.

Я возвратился к занятиям в университете. Снял маленькую квартирку в Холоне, вместе с Жожо. Я готовлю, он ходит за покупками и моет посуду. Когда он остается доволен моей стряпней, я счастлив. По вечерам мы с ним выходим куда-нибудь, смотрим фильм или посещаем концерт восточной музыки.

Я съездил навестить Яэль. Младенец играл пальчиками и улыбался мне. Он узнает меня! Яир говорил по телефону и помахал мне рукой. Теила принялась расспрашивать о раскопках в Трое и личности Генриха Шлимана. Я принес им пластинку с песнями Одисса Алитиса. Моя исследовательская работа по истории евреев Туниса удостоилась наивысшей оценки, и мне выделили стипендию для продолжения занятий на степень кандидата наук. Один из профессоров наметнул, что собирается сделать меня своим ассистентом. Мне придется посвятить все свое время университету. Но необходимо еще позаботиться об устойчивом заработке. Может, мне посчастливится найти подходящую девушку для совместной жизни. Жожо советует обратиться в брачное агентство.

Я сидел возле Яэли на диване, младенец играл на ковре. Душа моя содрогалась от рыданий. Вот молодая прекрасная жизнь, удивительный, божественный

дар — а ведь смерть так близка, она уже внутри нас, незримо разрушает и сокрушает, поджидает в конце дороги. Я не стал посвящать Яэль в свои печальные размышления. Она кормит ребенка грудью, ей нельзя расстраиваться. Я посмотрел на зеленый костюмчик мальчика, на его шелковистые шатеновые локоны и посоветовал Яэли:

— Пей перед сном теплое молоко.

Она звонко рассмеялась. Сказала:

— Адам, я никогда не пью молока, ни перед сном, ни вообще.

Я не погладил и не поцеловал ее, уходя, и твердо решил прекратить свои визиты в этот дом.

Назавтра я позвонил Яиру и сказал, что не смогу прийти помочь ему в киоске.

— Что-нибудь случилось? Все в порядке?

— Все в порядке, — успокоил я. — Привет Яэли. Передай ей, что я люблю ее.

— Обязательно передам, — сказал он и засмеялся. — Она это знает.

АНАСТАСИЯ

1

Из сладкой полуденной дремоты меня вырвал звонок из иерусалимского отделения полиции. Полиция, ко мне? С какой стати? Зимняя муть за окном, то ли утро, то ли вечер. Из трубки течет насморочный женский голос: «У нас к вам просьба, не сможете ли вы опознать тело женщины, найденной без признаков жизни в квартале Неве-Яаков?» — «Какая просьба? Повторите, пожалуйста, ничего не понимаю». — «Прошу прощения. Мы спрашиваем, согласны ли вы опознать тело молодой девушки». Я спросила, как ее зовут. Гнусавый голос ответил: «Именно это мы и хотим уточнить. Судя по всему, новая иммигрантка из России. Возможно, ее зовут Рут Котлярова». — «Весьма сожалею, но мне это имя незнакомо», — сказала я резко. Липкий женский голос настаивал: мой номер телефона нашли в ее записной книжке, и кроме меня опознать ее некому. Я спросила, от чего она умерла. «Тело обнаружено в квартире, никаких признаков насилия не имеется, там же обнаружен младенец, примерно шестимесячный, состояние здоровья пониженное». Я спросила, как выглядит умершая. Полицейская женщина пошуршала бумагами и прочла: «Рост один метр семьдесят три сантиметра, волосы светлые,

невьющиеся, длинные, цвет глаз зеленый, ресницы светлые, цвет лица довольно смуглый, нос прямой, веснушки». Сонливость с меня как рукой сняло. Анастасия!

Я познакомилась с Анастасией в 1991 году в Киеве, куда меня направили прочесть курс лекций по ивритской литературе. Анастасия была одной из дюжины студентов, тщательно отобранных для этого необычного курса, порожденного в греховном совокуплении американских денег с украинским национализмом. Курс проходил в аудитории номер 303, в красном здании Киевского университета, одного из старейших университетов России, печально известного своими многовековыми антисемитскими традициями. Студенты сидели напротив меня в полутемной аудитории, кутаясь в свои шубы и в свою настороженность. На дворе непрерывно шел мягкий снег. У всех у них были характерные русские имена, хотя часть из них, а может и большинство, явно были евреи, или наполовину евреи, или на четверть евреи. «У него столько-то процентов еврейской крови», — говорили мне в Киеве, как говорят, скажем, «у него такое-то образование» — возможно, под влиянием израильского «Закона о возвращении».

— Итак, — начала я первую лекцию, — как вы думаете, когда возникла литература на иврите?

Догадки были высказаны разные — от пятидесяти до ста лет назад. Я вынула первый том Библии с новым параллельным русским переводом, изданный институтом раввина Кука, и спросила, знакома ли им эта книга. «Да, это псалмы из Ветхого Завета, мы их теперь поем в церкви». Больше они о Ветхом Завете не знали ничего. Да и о Новом Завете тоже.

— Что ж, — сказала я, — тогда давайте почитаем. Кто первый?

Анастасия, похожая на кинозвезду светловолосая красавица с сияющими зелеными глазами в золотистых ресницах, продекламировала тоненьким, птичьим голоском строку: «В начале сотворил Бог небо и землю», словно читала стихи Есенина. Чувствовалось, что этот голосок шестилетней девочки сохранится у нее на всю жизнь. Илья — позже выяснилось, что Илья это Элиягу, — прочел нараспев стих «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою», пропел, словно играл виолончельную сюиту Баха, где вопросы и ответы переплетались, как в Талмуде. У меня мурашки пошли по коже и слегка закружилась голова при виде этих молодых образованных евреев, будущих кандидатов наук, знатоков русской литературы, впервые в жизни читающих начальные строфы Книги Бытия. Я растолковала им каждый стих первой главы, испытывая такое чувство преклонения, восторга, счастья, гордости, изумления, словно слова эти только что родились во мне самой.

2

Ко второй лекции я пришла на четверть часа раньше, чтобы успеть, как и все другие преподаватели, постоять в очереди за ключом от своей аудитории, расписаться в получении его у дежурной, а затем разыскать аудиторию номер 303 в лабиринте университетского здания. За мной шли несколько студентов, в том числе Анастасия и Илья. Он горбился в своем темно-сером грубого сукна пальто с металлическими пуговицами, шея была обмотана дырявым шерстяным шарфом, на девушке была шубка из искусственной норки, едва прикрывавшая узкие бедра, тесные джинсы и высокие желтые сапоги.

Илья обратился ко мне с просьбой — не отвечу ли я ему до лекции на один вопрос. Охотно, сказала я, у нас есть еще четыре минуты до начала. «Так вот: все мы тут прожили по двадцать с лишним лет, ничего не зная о религии. Изучали литературу, искусство, языки, музыку, точные науки, философию, а религия — ее словно бы не существовало вообще, родители говорили нам: об этом лучше помалкивать. Теперь мы знаем, что религия существует. Есть иудаизм, есть христианство. Но в чем именно разница между ними — это не ясно. Будьте добры, объясните нам».

В глазах Анастасии сверкнула искорка: проэкзаменируем эту заграничную ученую даму. Я сказала, что совершенно невозможно ответить на такой вопрос за три минуты, сказала, что на протяжении веков обе религии подвергались всяческому преобразованиям, что у обеих существует множество версий и оттенков... Я чувствовала, что это я просто подстраховываю себя, и решила прыгнуть прямо в темную бездну.

— Но совсем без ответа я вас не оставлю. Кое-что я вам скажу, так просто, не рассуждая, с чисто личной точки зрения и с учетом обстоятельств. Вы помните, что мы читали на первом занятии — как Господь каждый день, почти каждый день, взглянув на сотворенное Им на Земле, видел, «что это хорошо»? Господь говорил, «что это хорошо» о существующей на Земле действительности — о свете, о небе, о море, о растениях, о животных, о человеке. Мне кажется, вот именно это ощущение, что действительность земная хороша, что жизнь, и в особенности человеческая жизнь, хороша и священна — в нем и заключается одно из главных различий между иудаизмом, особенно ранним, и христианством.

Илья смотрел на меня с сомнением, явно не соглашаясь. Анастасия сказала:

— Христианство, если следовать ему до самого конца, это религия самоубийства.

— Откуда вы это взяли? — спросила я.

— Я знаю, слишком даже хорошо знаю, — ответила девушка, пронзив меня острым, как стилет, взглядом своих блестящих глаз.

Я сказала, что ведь и в христианстве, и в иудаизме самоубийство считается грехом и что помощь страдающим и немощным есть важнейшая часть христианского учения.

Мы занялись второй главой Книги Бытия, описанием событий в раю, все снова вошло в нормальные рамки курса и успокоило мою научную совесть.

По окончании лекции Анастасия сообщила мне, что пропустит два следующих занятия, так как студентов курсов для учителей и работников детских садов, где она учится параллельно с университетом, посылают на уборку в колхоз.

— Моя мама, — сказала она, — хотела бы пригласить вас на ужин. Можно?

Я была в Киеве совершенно одинока. Решение о проведении курсов по иудаизму в университете пришло «сверху», декан и ректор, чьей гостьей я официально считалась, были настроены против, поэтому они лишь один раз пригласили меня в ресторан, где предложили мне слишком сладкое вино, ломтики бледной жирной колбасы и торт с разноцветным кремом, а затем поспешили предоставить меня самой себе.

Я жила на Подоле. Некогда это был зажиточный, престижный еврейский квартал, теперь он превратился в трущобы, где штукатурка валилась с облупленных, выцветших стен. Темнело в городе рано, тротуары были испещрены рытвинами, в двери парадного был сломан замок, обои на стене у моей кровати висели клочьями, в туалете не спускалась вода. Еда, которую мне удавалось купить на рынке, состояла из полугнилой картошки, пятнистых яблок, капусты, кочаны которой походили на отрубленные головы. И только чер-

ный хлеб, купленный в булочной, был замечательно хорош. Я тосковала по настоящему супу.

Я взяла у Анастасии номер телефона ее матери, Ольги Алексеевны Котляровой, и позвонила ей. Ольга сказала, что узнает меня без труда: она видела меня, когда декан и ректор показывали мне здание университета, в том числе библиотеку. Она заведует там отделом редких изданий.

3

Ольга Алексеевна пришла встретить меня на станцию метро, чтобы мне не пришлось плутать в поисках ее дома. В руке она держала белую гвоздику. Мать Анастасии была небольшая полная женщина, закутанная в длинную меховую шубу поверх строгого бархатного костюма зеленовато-серого цвета. На ней была хорошенькая шляпка из того же материала, украшенная белыми бархатными цветами, из-под шляпки поблескивали коротко подстриженные светлые с проседью волосы. На стройных ногах ее, несмотря на мороз, были белые шелковые чулки и замшевые туфли на невысоких каблуках. Она улыбнулась мне, показав редко расставленные зубы и ямочки на щеках, превратившиеся уже в морщины. Ее зеленые глаза, притененные выцветшими золотистыми ресницами, непрерывно моргали. Глаза были глубоко запавшие, покорные, окруженные сетью жилок и морщин. Она взяла меня под руку, чтобы я не поскользнулась на зеркально отполированном ветром снегу, и привела меня в свою коммунальную квартиру, где у нее были две маленькие комнатки. Мы пили из хрустальных рюмок вишневую наливку собственного ее производства, в магазинах ведь сейчас ничего не достать. В фарфоровых тарелках дымился несравненный борщ, лоснились пельмени, тоненькие капустные ола-

ды, приборы были серебряные, украшенные коронами, фамильное наследство, и на десерт — благоухающий яблочный пирог с хрустящей корочкой.

Сперва мы поговорили о рецептах приготовления разных блюд, о том, каким бескультурным растёт нынешнее молодое поколение, а затем Ольга рассказала мне о себе. Она уже лет двадцать как разведена. Ее бывший муж, известный философ и литературный критик, живет в Москве, занимается культурологией и семиотикой, пишет статьи на темы Средневековья. Он опубликовал книгу о парадигме смерти в древнеславянских культурах, о том, как изображается в различных культурах трагический переход из «этого» мира в «тот». Они встретились, когда Ольга училась на курсах моделирования одежды, а он был молодой демобилизованный солдат, потерявший на фронте ногу. Ее специальность была моделирование шляп, но кому нужны были шляпы? Даже жены высшего партийного начальства носили тогда головные уборы только зимой, меховые или вязаные шапки. Ольга занималась домашним хозяйством, готовила, убирала, и это ей надоело. Просто было скучно. И она пошла учиться библиотечному делу. Ее приняли в аспирантуру в Москве, целый год она ездила из Москвы в Киев и обратно. Познакомилась с множеством интересных людей. Всеволод начал ревновать, сделался скучен, просто невыносим. Настя родилась у нас после двадцати лет супружеской жизни, ее рождение было чудом. Она, конечно, сильно избалована, капризная немножко, но чудесная девочка, она — всё мое счастье и моя надежда. Есть одна только проблема, понимаете... нет, вы не поймете... я, в моем возрасте, шестидесятилетняя баба, живу уже три года с мужчиной, его зовут Алексей. Он нефтяник, работает в Сибири, приезжает сюда раз в месяц, в два. Вы не поверите, он моложе меня на семнадцать лет, и подумать только — любит меня! Он

пьет, напивается, курит. Когда он приезжает, Настя сбегает из дому. Я так надеялась, что они поладят...

Ольга замолчала, ее светлые, тонкие ресницы часто-часто затрепетали, словно от удара током. Глаза ее увлажнились, на щеках появилась легкая краска.

Иногда мне хочется помолиться Богу, прошептала она, перекреститься, умолить Его. И тут же, словно согнав с лица ненужную помеху, заговорила бодрым голосом: мы с Настей очень любим музыку. Часто ходим вместе на концерты и в оперу. На той неделе дают «Хованщину», мы взяли билеты, но Настя уехала в колхоз. Не хотите ли пойти со мной? Грех было бы пропустить «Хованщину» в Киевском оперном театре. Я постеснялась признаться Ольге, что оперу видела только в кино.

Мы встретились в фойе театра. Ольга принесла с собой два букета цветов, один из них вручила мне. Многие зрители в зале, даже такие, что были одеты бедно и старомодно, держали в руках цветы, чтобы поднести их артистам по окончании представления.

В антракте я спросила Ольгу, почему Анастасия решила записаться на курс истории ивритской литературы. Ольга помрачнела.

— Вечно она ищет чего-то другого, — сказала она без улыбки, — вечно делает все наоборот. Всё-то ей хочется чего-то необыкновенного, более интересного и даже опасного... Ничего не боится... У меня была сестра, покончила с собой... Так вот, Настя похожа на нее, та тоже любила экзотические языки, интересовалась ранним христианством...

Я побывала в гостях у Ольги еще несколько раз, познакомилась также и с Алексеем. Это был мускулистый загорелый мужик с круглой крепкой головой,

покрытой коротко подстриженными волосами, с блестящими глазами стального цвета. Он ходил в плотно обтягивавшей тело майке, «принимал» невероятное количество водки, курил вонючие сигареты без фильтра и смотрел на Ольгу плотоядным взглядом. Как только он являлся, Анастасия уходила из дому, ночевала у подруг.

Когда я болела — а в Киеве легко заболеть, со времен Чернобыльской катастрофы в здешней воде и в воздухе остаются следы повышенной радиации, — Анастасия навещала меня, приносила лекарства, молоко, печенье, электрические лампочки, все то, что невозможно было тогда купить ни в одном магазине, даже в магазине «Березка», где спиртные напитки, шоколад, сигареты и прочие товары продавались за доллары. Однажды она с гордым и таинственным видом принесла мне кусок сыра. Ее отец не сообщил властям о своем разводе, чтобы его бывшая жена могла по-прежнему покупать продукты в специальном магазине для инвалидов Отечественной войны. Я расплачивалась уроками иврита, никакой иной платы они не соглашались принять.

— Моя мама замечательная женщина, — сказала Анастасия, — вот только Алексей... — Она вдруг наклонилась ко мне и своим детским голоском просвистела мне в ухо: — Я его ненавижу! Ненавижу!»

Лицо ее побледнело, на нем ярко выступили веснушки, глаза наполнились слезами и зеленой яростью.

Года через два я услышала этот детский голосок в телефонной трубке. Он спросил — теперь уже на иврите — помню ли я некую Анастасию? Она живет в Иерусалиме, в квартале Гило, снимает там комнату. Можно ли ей навестить меня?

Она выглядела постаревшей на десяток лет. Побледнела, глаза стали еще больше, веснушки усеива-

ли все лицо. Плечи у нее похудели, а бедра раздались вширь. При ходьбе она теперь слегка покачивалась из стороны в сторону.

Она хочет принять гиюр, перейти в еврейство. Давно уже хочет стать еврейкой. Еще в Киеве хотела, да, еще с тех пор. В Киеве у нее был друг еврей, она от него многому научилась. Да, Илья. Он репатриировался в Израиль, живет вместе с матерью в Димоне, но теперь они просто приятели. Мои лекции на нее тоже очень повлияли, я даже не представляю, как сильно. Теперь у нее нет друга, и она хочет перейти в еврейство, и кроме того, ей очень нужна работа. Разрешения на работу у нее нет, она здесь в качестве туристки, пока не пройдет гиюр. Она убирает в домах и в подъездах, но хотела бы найти работу с детьми, она ведь закончила в Киеве семинар по усовершенствованию учителей и работников детских садов. Как поживает мама? Нормально, Анастасия иногда говорит с ней по телефону, не слишком часто, потому что дорого. Алексей по-прежнему при ней. «Можно прожить и без мамы». Она обожгла меня взглядом, в котором светилось новое знание, улыбнулась и дернула губами. Я сказала, что, по-моему, ей лучше всего пойти в такой кибуц, где есть подготовительные курсы для желающих принять гиюр. Позвонила в несколько мест, и Анастасия выбрала кибуц Эйн-а-Нацив.

5

Примерно через год она позвонила снова. Как дела? У нее, хвала Господу, все отлично. В Эйн-а-Нациве было замечательно, нелегко, но очень интересно, ужасно жаль, что это уже позади. Она познакомилась там с прекрасными, очень интересными, достойными людьми. Теперь она ищет работу. Если не с деть-

ми, то, может быть, кому-нибудь нужна уборка. Она любит работать с людьми, а не с неодушевленными предметами, это очень скучно, но в данный момент выбирать не приходится. Мама приедет в гости на Песах, разумеется, без Алексея, спаси нас Господь и помилуй! В Эйн-а-Нациве много говорили о том, как необходимо после гиюра поддерживать связь с родителями, о том, что гиюр вовсе не отменяет заповедь «чти отца своего и мать свою». Но как можно чтить мать, которая сама полностью отказалась от уважения к себе, которая так унизительно себя ведет? Да вдобавок мама ударилась в религию, понятное дело, в христианскую, упаси нас Господь от греха. Хочет отпраздновать Пасху в Иерусалиме. Кстати, меня теперь зовут не Анастасия, а Рут, в честь Рут-моавитянки, ну, сама понимаешь, она ведь тоже обратилась в еврейство. Прародительница царя Давида! Когда у меня будет сын, я назову его Давидом, засмеялась она, и в голосе ее прозвучали первые надтреснутые нотки.

Я купила большой букет и поехала в аэропорт встречать Ольгу. Отвезла ее в Гило к Рут. Всю дорогу она беззвучно плакала и смеялась, вытирая слезы вышитым шелковым платочком, изъеденным молью. Говорила о том, как ужасно тоскует по Насте, и о религии, которая научила ее с радостью принимать все мучения этой жизни — и унижения, и чувство вины, и скорбь, и грязь, и скуку... Светлый камень домов в Гило понравился ей.

Я свозила ее в храм Гроба Господня в Старом городе и в русскую церковь в Эйн-Кареме. Повела на концерт филармонического оркестра. Ольга сказала: может, мне переехать жить в Израиль? Рут ответила: тебе нельзя, ты не еврейка. И что ты сделаешь с Алексеем?

Ольга пробыла в Израиле три недели и вернулась в Киев. Раз или два я говорила с ней по телефону —

больше из вежливости, затем связь прервалась. Было это два года назад, и вот теперь полиция хочет, чтобы я опознала тело. Больше это сделать некому. И имеется младенец. От кого?

Анастасия лежала в больничной мертвецкой, накрытая простыней. Нос ее удлинился, желтоватые бледные губы приоткрыты, словно она только что увидела нечто — и странное, и интересное, и очень печальное — и хочет рассказать мне об этом. Я с трудом оторвала взгляд от этих немых приоткрытых губ. Объяснила полицейским, кто она, и попросила, чтобы кто-нибудь сообщил ее матери в Киев. Сама я была не в силах это сделать. Я спросила, какова была причина смерти. «Неясно», — ответили мне. «Она покончила с собой?» — «Судя по всему, нет. У нее, видимо, была высокая температура, возможно, понос или дизентерия, она не получала никакого лечения. Обезвоживание организма, да к тому же зимой». Не знаю ли я, как она питалась? «Нет, не знаю». — «Была ли она членом больничной кассы?» — «Не знаю, скорее всего, нет». — «Принадлежала ли она к какой-либо общине или синагоге?» — «Не знаю». — «Был ли у нее кто-нибудь, кого она могла попросить о помощи?» — «Не знаю».

Спустя несколько дней я стояла, опустив глаза, рядом с матерью Анастасии на кладбище в Иерусалиме и пыталась ее обнять. Она не реагировала. Стояла в надорванном у ворота, по еврейскому траурному обычаю, свитере, с серым лицом, с покрасневшими глазами, с искусанной до крови верхней губой. С недоумением остановила на мне пустой, застывший взгляд, не пытаясь даже вытереть слезы, струившиеся по ее щекам и вместе со слюной капавшие с подбородка. Помимо нас вокруг могилы толпилось человек тридцать молодежи из Эйн-а-Нацива, и еще был там парнишка лет девятнадцати, симпатичный израильский мальчик с длинными волосами и с серьгой в ухе, который ры-

дал не переставая. Там же находились и его родители, терпеливо стояли рядом с ним, не зная, что делать. Толстенькая девушка в длинной джинсовой юбке объясняла подружке, что эта пара — родители того парня, от которого ребенок. «Они думали пожениться, но он нерелигиозный, поэтому Анастасия сильно колебалась. Ну, что бы они делали в субботу? Вот они и разошлись, она решила, что будет матерью-одиночкой, будет растить ребенка сама. Его родители собираются усыновить малыша. Его зовут Давид. Мы приезжали на церемонию обрезания, и с тех пор от нее не было ни слуху ни духу...»

— Мальчика зовут Давид, — сказала я Ольге. Помоему, она не поняла, что я говорю и зачем.

ОГРАДА

В три часа ночи под окном моей спальни раздался оглушительный грохот, будто от взрыва, и тотчас за этим звуки мощнейшего чмокания и бульканья, словно из земли вырвался гейзер и бурные воды клокочут за стеной. Снаружи свирепствовало ненастье. Я выволокла себя из-под пухового одеяла и проковыляла сквозь темноту спальни, гостиной и кабинета к выходу во двор, по направлению шума. Мрак снаружи был полон движения: метёлки пальм и кроны мушмулы с силой раскачивались, листья и какие-то неопознанные предметы кружили в воздухе. На земле валялся огромный контейнер с соляровкой, под ним растекалась радужная лужа, а рядом, под окнами пожилых супругов, квартира которых примыкает к моей, покачивался массивный газовый баллон новых соседей, проживающих над нами на втором этаже — молодая пара с американским акцентом. Баллон был усыпан осколками цемента, скреплявшего рухнувшую под натиском бури ограду. Раскаты грома заполняли пространство. Воздух был пропитан странным запахом.

Я вспомнила, что сказал Амнон полгода тому назад, когда только переехал ко мне:

— Эта ограда в один прекрасный день обрушится к тебе во двор. Ты что, не видишь, как она накренилась?

Удивительно: два человека смотрят на одну и ту же вещь, но один мгновенно схватывает то, чего дру-

гой вообще не замечает. Нечто подобное происходит, когда мы играем в шахматы: Амнон угадывает возможности там, где мне видится тупик, и поэтому он почти всегда выигрывает. В школе, в старших классах, я даже не глядела на парней из профессионального училища, которые пытались приударить за мной. Теперь я влюблена как раз в такого мужчину. До этой ночи ограда просто не существовала для меня. Сейчас я наконец рассмотрела ее. Сложена из разнокалиберных потрескавшихся темно-коричневых блоков песчаника, со временем разъехавшихся в разные стороны. Щели между ними, изначально, надо полагать, заполненные цементным раствором, теперь наглухо закупорены мощными корнями смоковницы, на зиму сбрасывающей узорные листья, а летом создающие навес над скамеечкой и небольшим мраморным столиком в моем садике. Смоква дает вкусные плоды, причем не все сразу, а постепенно — что за мудрое дерево! И ведь угораздило его вырасти прямо в ограде.

— Зачем нам вообще эта ограда? — заметила я в раздражении. — Она не настолько высока, чтобы помешать соседскому пуделю перескочить через нее и нагадить в моем садике. И тем более она оказалась не в состоянии воспрепятствовать им расширить свое великолепное жилище таким образом, что оно уже почти касается ее. Она нисколько не заглушает шум, который они поднимают, он проникает в мою квартиру и не дает мне спать. Я так люблю спать! Я не общаюсь с ними, но слышу каждое слово их телефонных разговоров. Что за люди! Что мне до них? Я не интересуюсь подобными хамами и невеждами.

Однако, чтобы успокоить Амнона и поощрить его участие в моей жизни, я позвонила этим наглецам за оградой, которые абсолютно ни с какой стороны не интересуют меня, и сказала:

— Мой друг говорит, что ограда между нашим и вашим домами вот-вот рухнет. Может, стоит что-то предпринять?

— Он говорит? — хмыкнул Габи достаточно дружелюбно. Так отвечают, когда не желают прилагать не малейших усилий и тем более платить за что-то. — Пусть себе говорит! Что тут можно поделывать?

Однажды я слышала, как он сообщал кому-то по телефону, что я весьма странная особа, которая все время меняет кавалеров и к тому же слушает музыку и играет на флейте в недозволенные часы, когда нормальные люди уже спят. Он, как видно, считает, что если у него имеется в центре города роскошная вилла с большим садом — за коим ухаживает садовник, — то уже не обязательно считаться с таким ничтожеством, как я, обитающем в многоквартирном доме. К чему вообще разговаривать с ним?

Я позвонила и соседям над нами: Авигайль и Джерри. Молодые религиозные и спортивные американцы. Как обычно, наткнулась лишь на электронную секретаршу. Не то чтобы я была так уж заинтересована в беседе с ними или мечтала поближе познакомиться. Я израильтянка, не религиозная и не спортивная. Что мне до них?

Амнон не отступил. Неделю назад он предложил завезти арматуру, с помощью которой можно корректировать растягивающие напряжения. Установить клиновую регулируемую опору с винтовым устройством, перпендикулярным направлению перемещения кладки. Плавность изменения наклона определяется соответствующим выбором шага резьбового соединения. Подъем конструкции при любом шаге резьбы можно осуществлять абсолютно плавно. Таким образом мы добьемся того, что кладка постепенно подается и выпрямится. Блестящая идея! Меня порадовало, что он так переживает из-за моей ограды. Это заняло у меня

немало времени — понять, что у каждого есть свой способ выразить любовь.

В три часа пятнадцать минут ночи, когда груды камней обрушилась на контейнер с соляровкой, стоявший рядом с газовыми баллонами, Амнос, ни секунды не медля, выпрыгнул из-под пухового одеяла и кинулся в одних трусах наружу, во тьму, под ливень и шквальный ветер. Вернувшись, он закрыл ставни на окнах спальни и сказал:

— Невозможно. Обломки накрыли контейнер и баллоны, газ вытекает наружу. Все окна закрыты? Это скоро кончится. — Забрался обратно под одеяло и свернулся калачиком, словно большой зародыш в материнском чреве.

Обожая его деловитость, я не могла не подумать: «Какое счастье, что обрушение теперь не только моя проблема. Теперь это проблема и Амнос, и всех соседей. Ладно, старики рядом — люди больные, не стоит тревожить их. Габи, конечно, скажет: “Что тут можно поделывать?” С американцами невозможно поговорить даже по телефону. Что за люди! Так что же будет?» Только под утро мне удалось наконец уснуть.

Около полудня я столкнулась возле входной двери с Авигайлью, занимающей на втором этаже огромную квартиру, которую ей купили ее американские родители. Я спросила, есть ли у них газ, и она ответила, что в самом деле не понимает, почему газ так быстро кончился. Я растолковала ей, что произошло. Она смотрела на меня тем обиженным взглядом, с которым люди выслушивают неприятное сообщение о необходимости выложить денежки. Точно так же ранее смотрел на меня ее супруг Джерри, когда я высказала мнение, что им неплохо было бы принять участие в расходах по содержанию палисадника перед домом. Довела до его сведения, что, в конце концов, я покупаю удобрения, саженцы, да еще оплачиваю услуги садовника Рази,

который появляется раз в месяц, чтобы навести порядок в палисаднике. Джерри покивал сочувственно головой, но не промолвил ни слова.

В обед я услышала Габи, выгуливающего под моими окнами своего пуделя по кличке Леди:

— Иди сюда, Леди, иди, поглядим, что тут стряслось ночью.

Я высунулась в окно и сказала ему:

— Вы видите это? Вообразите, что произошло бы, если бы солярка воспламенилась от газа!

Нашу предыдущую беседу не стала упоминать.

— Что можно поделать? — произнес он миролюбиво. — Придется восстановить ограду.

— Боюсь, что старики не смогут принять участия в расходах, — предупредила я и, расхрабрившись, прибавила: — Они существуют исключительно на пособие от Института национального страхования.

Тут вышел Амнон и сказал, что если так, то расчет весьма прост: ограда разделяет два дома, а посему владельцы виллы уплатят половину суммы, а вторую половину разделят между собой обитатели многоквартирного дома.

Габи подумал немного и сказал:

— Да, это понятно. Что можно поделать... У тебя есть подрядчик?

— У меня? Подрядчик? Что общего может быть у меня с подрядчиками?

Потом я сказала:

— У Джерри и Авигайли есть человек, который следит за хозяйством — Барух. Может, спросим его? Таким образом они не смогут увильнуть от уплаты.

Габи сказал:

— Я во всем полагаюсь на вас.

Мне не нравится, когда так говорят. Я сказала:

— Габи, я не сделаю ничего такого, что было бы вам не по душе.

Поговорила с Джерри по телефону. Он молчал, как молчат, когда не желают раскошелиться.

Я сказала:

— Ограда между домами принадлежит всем жильцам дома, так что ничего не поделаешь, придется платить.

Предупредила его также, что со стариков, которые живут внизу, мы не возьмем денег. Он немного подумал и согласился. Они посещают одну и ту же синагогу. Дал мне телефон Баруха. Барух навел справки и сообщил, что очистить участок от остатков старой ограды и возвести новую каменную на высоту тридцать сантиметров, а на ней установить железную решетку обойдется в двадцать тысяч. Без квитанции. Мне не нравится это «без квитанции». Это создает ощущение, будто ты что-то выгадал. Я позвонила Габи, он снова повторил:

— Я во всем полагаюсь на вас.

Утром следующего дня Барух явился с гигантским контейнером, предназначенным для строительного мусора, и двумя рабочими-арабами. Оставил их убирать обломки и исчез. В полдень явились два инспектора и поинтересовались, кто нанял рабочих. Я дала им телефон Баруха. Барух прибыл, и заварилась визгливая перебранка. Когда инспекторы удалились, Барух сказал мне:

— Вам придется уплатить налог на добавленную стоимость. Что можно поделать...

Темные круги его глаз закатились к небу и исчезли под складками верхних век.

Четыре дня рабочие расчищали территорию от обломков рухнувшей ограды. Барух объявил, что ему причитается шесть тысяч пятьсот шекелей за проделанную работу и прибавил, что возведение новой ограды обойдется дороже, чем он предполагал. Услышав про это, Амнон сказал:

— Арабы получают за свою работу двести шекелей в день. Как это у него вышло шесть с половиной ты-

сяч? И ты, что ли, виновата, что он нанял нелегальных рабочих?

Мне хотелось показать ему, что я полностью на его стороне, и вообще, что я разбираюсь в деньгах и в таких делах, поэтому я пошла поговорить с Габи. Сказала ему:

— Как это Барух умудрился насчитать шесть с половиной тысяч? Рабочий — это двести шекелей в день. И сколько уж там может стоять контейнер!

Габи сказал:

— Верно. Но что тут можно поделывать?

Я сказала:

— Хорошо, заплатим Баруху и возьмем другого подрядчика. И кроме того, ограда высотой в тридцать сантиметров — это совершенно несерьезно. Сейчас нам представляется возможность немного приглушить акустический эффект между нами. Вы ведь знаете — я слышу каждое слово сказанного Ноами по телефону. Зачем мне знать все подробности жизни вашей семьи и ваших друзей? Давайте сделаем настоящую ограду.

Габи по-новому взглянул на меня и снова сказал, что он во всем полагается на меня и будет рад, если я найду другого подрядчика. Я посоветовалась с садовником Рази. Рази — сын Махмуда Абу-Рази из Бейт-Цафафы, который много лет проработал у нас садовником. Теперь Махмуд коротает свои дни то в поликлинике, то в больнице. В прежние времена он доставлял нам маслины и виноград в пластиковых коробочках с арабскими надписями, пожимал мою руку своей громадной смуглой ручишей, похожей на боксерскую перчатку, и густым басом осыпал нас вопросами о самочувствии и пожеланиями здоровья. Махмуду я дала ключ от квартиры, чтобы он мог пройти в мой садик, даже когда меня нет дома. Рази выше отца, и он пожимает мою руку протезом своей правой руки,

которую потерял вместе с правым глазом Бог весть при каких обстоятельствах. Он утверждает, что получил нас в наследство от отца. Рази живет в Иерусалиме возле Сада независимости, на досуге читает стихи на иврите, на арабском и на английском, потягивает пиво и курит сигаретки с марихуаной — в одиночестве или с приятелями, в том числе и евреями. Он объявил, что берется за сооружение ограда — у него есть друзья, — и посоветовал сложить ее на бетонном основании глубиной в полметра и шириной в шестьдесят сантиметров, из равновеликих блоков, скрепленных изолирующим составом. Высота будет два метра двадцать. Вместе с фактурным покрытием и каменным навесом такая ограда обойдется нам всего лишь в двадцать две тысячи. Я поговорила с соседями. Джерри долго молчал, склонив голову к плечу, как будто у него болит ухо, но не сказал «нет». Габи сказал:

— Что тут можно поделать?

Я согласно кивнула.

Мы потолковали с Рази и договорились, что он получит треть всей суммы тотчас наличными, чтобы закупить материалы. Вторую треть мы уплатим, когда стена будет воздвигнута на высоту полутора метров. Остальное по завершении работ. Рази взял деньги и исчез. Строительство должно было начаться завтра, однако в следующие четыре дня мы не видели ни Рази, ни его друзей. Мы с Габи оставляли ему сообщения на мобильном телефоне, но он не откликался. Позвонили отцу, ответил женский голос, который объявил, что ей ничего не известно.

На пятый день Рази явился с двумя рабочими и выгрузил во дворе десять мешков цемента и песка и несколько связок длинных железных штырей.

Невидящий глаз его запал еще глубже в глазнице, лицо осунулось, и глубокие морщины избороздили кожу.

— Что случилось, Рази? Где ты был?

— Не важно.

— Мы думали, что ты пропал.

— Я?! Я брошу работу, которая досталась мне по наследству от моего отца?! Сейчас же начинаем! Пойду схожу в продуктовую лавку, куплю какой-никакой еды. В полдень, если не трудно, свари нам кофе.

Рабочих звали Ахмед и Моше. Ахмед был двоюродным братом Рази, каждые два часа он пил кофе и курил марихуану, а затем действительно вкалывал как черт.

— Живем на батарейках, — сказал, когда я спросила его про самочувствие.

Рази сообщил, что он выстроил в Бейт-Цафафе настоящую виллу. Был сарай, а он превратил его в виллу. Без архитектора, без инженера, вообще без никого. На фасаде сам сложил полукруглую каменную лестницу. Как вытесал камни, чтобы получить такую конфигурацию? С помощью веревки, которую привязал к гвоздю.

Моше был седовласым курдом лет шестидесяти или семидесяти. Отсидел двенадцать лет в тюрьме за убийство, а когда вышел, развелся с женой и женился на другой — на женщине, которая прежде была подружкой Рази. На работу он явился в белой рубашке. Движения его напоминали великолепную пластику пантеры. С помощью отбойного молотка «Конго» они вгрызлись в упрямый иерусалимский грунт, раздолбили в куски остатки прежнего основания, искромсали толщенные корни столетних деревьев. Молча свалили весь мусор в контейнер.

Я спросила всех троих, какого кофе им хотелось бы, и не стала варить, а просто плеснула кипятком в стаканы из тонкого стекла, чтобы согрелись, потом бросила в каждый ложку турецкого кофе с сахаром, залила крутым кипятком и старательно перемешала до появления пены. Если нет пены, следует начать все

сначала. Приготовила таким образом четыре стакана кофе и уселась с ними.

— Так что же все-таки случилось? Где ты пропадал, Рази? У тебя какие-то неприятности?

— А, не важно! В самом деле не важно...

Два дня рыли землю, подготавливая канаву для заливки бетонного основания, что и было осуществлено на третий день. Потом Рази снова исчез. Целую неделю не отвечал на телефонные звонки. Я снова позвонила его отцу. Махмуд Абу-Рази добрых четверть часа донимал меня расспросами о моем самочувствии и состоянии виноградной лозы, которую он привил два года назад.

— Что случилось с Рази?

— Честное слово, не знаю. Я поговорю с ним.

Вечером позвонил Рази.

— Привет, Рази! Что происходит?

— Я хочу поговорить с вами.

— Очень хорошо. Приходи, поговорим.

Рази явился, предложил посидеть в садике, чтобы можно было курить. Попросил кофе. Сказал:

— Гляди. Я ошибся. Да, допустил ошибку. Назвал цену, не выяснив до конца всех обстоятельств. Не посоветовался с людьми. Когда понял, что не заработаю на этом ни гроша, решил купить материалы на Территориях. Взял Ахмеда с его грузовиком, поехали в Хизму. Купили материалы для основания. Заплатил три тысячи. Без квитанции. На первом же контрольно-пропускном пункте нас спрашивают, откуда мы едем. Я сказал: из Бет-Шеана, и нас пропустили. Но вдруг — за нами гонится полицейская машина. Останавливают. Выходят полицейский и еще один в штатском и снова спрашивают, откуда мы. Я говорю: из Бет-Шеана. «А где купил материалы?» — «В Бет-Шеане». — «Есть квитанции?» — «Нет», — говорю. — «Так... — говорят. — Грузовик с материалами конфискуем. Или платите две тысячи та-

моженного сбора, или получите повестку в суд». — «Гони, — говорю, — свою повестку и отпускаяй меня с грузовиком». Я уже понял, что он из Налогового управления. Вытащил, сволочь, книжицу со всякими квитанциями или черт его знает какими хренациями и настрочил в ней неведомо что. Сказал Ахмеду: «Материалы разгрузи и оставь здесь, грузовик можете забрать». Я говорю: «За что налог? Можно получить копию повестки?» — «Ты что себе воображаешь? — говорит. — Это что — рапорт о дорожном нарушении, чтобы вручать тебе копию?» — «Как? — говорю. — Мне не положено знать, за что повестка? В чем меня обвиняют?» — «Не волнуйся, — говорит, — узнаешь». Я все же порадовался, что не забирают грузовик Ахмеда. Что бы я сказал отцу, если бы конфисковали грузовик? Приехал домой и подсчитал: дал заниженную расценку — это раз. Теперь придется закупить материалы по настоящей цене. Это два. Ахмеду и Моше я должен заплатить по двести пятьдесят шекелей за каждый день работы. Это три. Скажи, зачем мне вся эта морока, к ядрёной матери? Накурился травки и завалился спать. Проспал двое суток. Отец разбудил — принялся трезвонить. Спрашивает, что случилось. Рассказал ему. Он говорит: «Сынок, ты совершил ошибку. Ты не ребенок, ты взрослый мужчина. Ахмеду деньги можно немного задержать. Ничего с ним не случится — подождет. Он твой двоюродный брат. А на материалы я тебе одолжу». Купил материалы в Бейт-Цафафе на отцовские деньги. Можно продолжать работу. Но я каждый день курю травку и пью пиво. Ничего не ем. Нет аппетита. Мыться тоже нет охоты. Вообще не понимаю, что чувствую. Сейчас я тебе расскажу кое-что. Видишь мою руку и мой глаз? Это чепуха. У меня позвоночник сломан. В районе шеи, под самым затылком. Каким образом? Не важно. Врач мне сказал: «Берегись, чтобы не было воспаления». И вот я ощущаю там кошмарные боли и думаю: это мой конец. Просто умом тронулся от

всего этого. Два дня лежал — боль усиливается, наползает на затылок. Отец позвонил, спрашивает: «Сынок, как ты? Как здоровье?» Рассказал ему. Приехал ко мне из Бейт-Цафафы и отвез в поликлинику. Видишь повязку на затылке? Оказалось, фурункул. Вскрыли. Теперь я снова человек.

Он оттянул ворот джинсовой куртки, продемонстрировал широкую марлевую повязку на затылке, закрепленную полосами пластыря, уходящими вниз на спину, и уставил на меня взгляд своего единственного глаза, почти так же глубоко запавшего в глазницу, как другой, мертвый.

— Теперь, — произнес он мрачно, — у меня нет денег закупить блоки. Отец сказал, что можно сделать. Семья одолжит. Тогда не придется брать у вас, пока ограда не станет полтора метра. Но мне не хотелось бы одалживаться у семьи. Это позор. Мне уже пятьдесят. Не ребенок. Может, вы все-таки выплатите мне прямо сейчас вторую треть?

Я сказала, что не могу сама решить этот вопрос, требуется согласие всех соседей. Позвонила Габи, он поначалу долго молчал, а потом произнес:

— Хорошо. Что можно поделат?

Оказалось, что Джерри и Авигаиль как раз уехали отдыхать на Багамские острова. Я позвонила отцу Авигайли в Америку и изложила всю историю во всех подробностях. Он сказал:

— Пускай твой араб подождет, пока дети вернутся в Израиль. Не портить же им отдых.

Я разозлилась и сказала ему:

— Если они не согласятся, мы выплатим их часть.

И он ответил в точности как Габи:

— Хорошо. Что тут можно поделат?

Мы стали ждать, пока Джерри и Авигаиль вернутся с Багамских островов. Они не согласились выплатить Рази вторую треть до того срока, который обозначен

в договоре. Рази не откликается на мои настойчивые телефонные звонки. Махмуд Абу-Рази говорит, что его сын болен.

Возведение ограды не возобновляется, но Габи и Ноами пригласили нас всех разделить с ними субботнюю трапезу, а Джерри и Авигаиль говорят мне: «Шалом, как самочувствие?», когда мы встречаемся на лестничной площадке. По субботам, когда мы с Ам-ноном усаживаемся в машину, чтобы поехать за город проветриться, они как раз выходят из подъезда и направляются в синагогу. Приветствуют нас и говорят: «Приятной прогулки!» Не исключено, что они еще согласятся принять участие в расходах по уходу за палисадником. В самом деле, на кой шут нам сдалась эта ограда?

С ТЕХ ПОР НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ

На первый взгляд тут произошла досадная накладка. Результат благих намерений. Отсутствие опыта. Одно-разовое недоразумение, которое немногим причастным к нему лучше поскорей позабыть и вернуться к привычному образу жизни. Забыть, как следует забывать нечаянные ошибки, последствия которых никак невозможно было предвидеть и которые не должны нарушать естественного течения событий. Однако влияние ошибок и осечек на порядок существования — вопрос малоисследованный, в особенности в таких местах, где сам этот порядок до сих пор свеж и неустойчив.

Новое место пахло лекарством. С грузовика открывался вид на дорогу, отходившую от главного шоссе к новому дому, скрытому от глаз плотным рядом кипарисов, эвкалиптов и акаций. За деревьями проглядывали и что-то сушили голубые квадратные коробки ульев. Отец с отчаянным трубным звуком, отчасти приглушенным шумом мотора, прочистил нос. Мать протянула бесцветным голосом, медленнее обычного:

— Нам необходимо сейчас другое место. Изменить атмосферу. Как будто едем в дом отдыха.

Девочка смотрела на них, тесно прижавшихся друг к другу, — обычно они не сидели так, — и вместе с красотой пейзажа и запахом деревьев ей в голову проникла мысль, что, может, удар, который они пере-

жили, придаст им сил, может, отныне и навсегда они перестанут ссориться.

— Изменили достаточно, — сказал отец.

— Уж не по моей ли вине? — спросила мать.

— Ты никогда не научишься смиряться с действительностью, — сказал отец, — постоянно блуждаешь в фантазиях. Останешься такой до ста двадцати.

— Так и что? — сказала мать. — Ты завидуешь?

— В самом деле, есть чему завидовать! Самообман — это разница между мною и тобой.

— На твоей могиле будет написано: «Это разница между мною и тобой», — сказала мать.

Девочка прекратила таращиться на них, потому что теперь не будет больше ничего такого, на что стоило бы тратить внимание. Они уже говорили между собой на идише, их родном языке, месили в нем вязкий ком слов запретных и стыдных, которых нужно сторониться, чтобы не приклеиться к ним. Она прислушивалась теперь к чему-то иному, глаза ее поблескивали, загорались и тускнели в подобии улыбки: ошибка прояснилась. Он вернется и скажет: «Я был в плену». Случались такие вещи. Ты жди, сестра. «Жди меня, и я вернусь, только очень жди», — звучал голос охрипшей певицы. «Только очень жди», — звенело в воздухе, полном голубых ульев.

Откроется дверь нового дома, и тот, кто должен быть в доме, будет в доме, будет спать в своей постели, накрывшись одеялом. Родители не поверят своим глазам. Или так: мы будем в доме, и вдруг откроется дверь, и он войдет, захочет принять душ, возьмет ее прогуляться немножко, поиграть в прятки, и снова исчезнет неизвестно на сколько времени. «Мы продолжим игру в другой раз, — скажет как обычно. — Ты уже большая девочка и все понимаешь, еще год — и мы отпразднуем твою бат-мицву. Нехорошо, некрасиво, что ты прячешь под кровать мою походную сумку и ружье, да еще сме-

ешься при этом. У нас есть уговор, верно? Ты помнишь наш уговор? Смотреть на луну в семь часов? Помнишь, как мы договорились? Жди меня, и я вернусь, жди и в холод и в жару. Пусть поверит даже мать в то, что нет меня, пусть друзья устанут ждать... Ожиданием своим ты спасла меня... Мы продолжим игру с того самого места, на котором остановились. Ведь пока не случается ничего такого, на чем стоило бы сосредоточить внимание». Как луна движется над ней в окне машины, так и он всегда будет тут, за ее спиной.

Это продолжалось и на новом месте, ежедневно, по дороге в школу и из школы, через рощу и через кладбище, между апельсиновыми плантациями. Каждый день он поджидает ее, чтобы следовать сзади. Сначала стоит в сторонке, пока она отбивается от приставаний велосипедистов, проезжающих мимо нее с воплями «Й-о! — У!..». Ноги оторваны от педалей и широко раскинуты, черные резиновые сапоги мелькают, как тени электрических столбов. Не следует обращать внимания на обидные выкрики «глухая!», «дура!», «воображала!» и всякие такие вещи, на которые не следует обращать внимания. Вот она наконец может приоткрыть щёлки на лице, чтобы втягивать в себя ритмичный звук шагов за спиной и подгонять к нему собственные шаги. Она шагает впереди, а он позади нее, на строго отмеренном расстоянии примерно в сто метров. Она в точности знает, как он выглядит, и не оборачивается. Неизменная дистанция разделяет их, как разрыв в восемь лет в их возрасте. Движения их согласованны: ее правая нога — его правая нога, ее левая — его левая, как будто каждая часть ее тела привязана к той же самой части его тела. Но если она повернет голову назад, он отступит ей за спину, а может, и вовсе исчезнет. Поэтому категорически запрещено оборачиваться. Нельзя также убыстрять или замедлять шаги, нельзя бежать и нельзя останавливаться. Такой уговор. Однажды он постучит в

дверь и войдет. Скажет: «Я вернулся из плена». Нужно предупредить родителей, чтобы не запирали дверь, когда уходят из дому. Но придется подумать, как сказать это, чтобы не сделать им больно. Потому что все причиняет им боль. Нужно позволить им отдохнуть. Успокоиться. Нужно следить за ними, чтобы ели, как велела тетя Хана. «Следи, чтобы они три раза в день ели».

Она сказала это, когда они вернулись с мамой из зоопарка, любимого места отдыха горожан. Мама взяла ее туда, опустилась на скамейку и спросила:

— Почему ты не спрашиваешь, отчего я плачу?

Действительно, глаза ее были слишком красными, но девочка давно уже не видела вокруг себя ничего такого, на чем не стоило бы задерживать внимания. Она была послушная девочка, поэтому тотчас спросила:

— Почему ты плачешь?

Попугаи кричали, обезьяны вопили, мать сказала:

— Пока его эвакуировали... Месяц в больнице в Иерусалиме... Недельные задержки до отправки извещения. Временное захоронение — из-за положения...

Девочка прислушивалась к чему-то другому.

На приглашении на церемонию, так же как на извещении и соболезнованиях стоит подпись самого премьера, главы правительства, и росчерк под ней со стремительной уверенностью раскидывается по комнате, снова и снова стирает пустое пространство. Письмо в черной траурной рамке висит на стене над буфетом со стеклянными дверцами, вместе с благодарственными грамотами Фонда основания за пожертвования на саженьцы. Грамоты обступили его большую фотографию с улыбкой от уха до уха внутри тяжелой серебряной рамки. На самом буфете возвышается узкая серебряная ваза с неизменным букетом белых калл, которые мать меняет раз в неделю. Есть еще много его фотографий разных периодов жизни, на одной из них он сидит на газоне, по-турецки скрестив ноги, и держит

ее между коленями. Это была ее обязанность: каждый день смахивать с буфета пыль пучком цветных перышек. Изо дня в день она поглаживала его лицо этими цветными перышками и заключала с ним договор: ее брат вернется к ней живым. Вот зрачки начали двигаться. Вот раздался безмолвный смех. Цветы каллы напружинились, раскрыли свои зевы и облегченно выдохнули воздух, как довольные собаки.

Нельзя рассказывать об этом родителям, как нельзя рассказывать им о драке с детьми из «Алият а-ноар» — «Молодежной репатриации». Все дети из «Алият а-ноар» были нахалы, задиры, грубияны и обманщики. Они затерроризировали ребят из мошава*, и только она, охваченная яростью и отчаянием, схватывалась с ними снова и снова и постоянно оказывалась побежденной. Только поначалу, в первые дни, родители сидели, тесно прижавшись друг к другу, как настоящая пара, но потом голоса их начали звучать жестче, и они обрушивались друг на друга с руганью на том языке несчастий и злобных оскорблений — их родном языке, призванном защитить ее от запретных и постыдных вещей, — из которого под конец выскакивало страдальческое бормотание: иди есть; отправляйся спать; оставь меня в покое. И утром мать раздраженным, незнакомым движением тянула волосы, заплетая ей косы. Однажды она послала ее разбудить отца, задремавшего, по своему обыкновению, на зеленой тахте. Ноги его были поджаты, все тело скрючено. Когда девочка дотронулась до его спины, все его члены мгновенно дернулись, и просонья он ударил ее ногой, обутой в ботинок. А когда проснулся, глаза его были красны как кровь. Он смотрел на нее, как будто никог-

* Мошав — «поселение»; сельскохозяйственная община, действующая на кооперативных началах в сфере сбыта продукции, но при сохранении индивидуального землепользования и ведения хозяйства.

да не видел прежде ее лица, и был не в силах выдавить из себя ни слова.

Голос матери снова произнес: завтра утром мы едем на поезде в Иерусалим. Значит, завтра появится лекарство от страдальческого бормотания. Завтра они втроем поедут путешествовать — в то место, где находится он. И снова будут все вместе, как и полагается, вчетвером. Руки одели ее в белую накрахмаленную и отглаженную блузку. Застегнули на ней четыре пуговицы спереди и две на манжетах, потянули с силой вниз полы блузки под юбкой в складку. Нетерпеливые руки расчесали ее волосы, разделили голову на две равные половинки и заплели две тугие косы, одинаковые по длине и толщине. Белые ленты прогладили на боку чайника, после того как мать облизала их языком. Субботняя одежда не в субботу, как будто едут в праздничный день в город на театральное представление для детей. В мошаве все работают в субботу, каждый на своем участке. У каждого свой курятник и свой коровник. Снова и снова тот же самый курятник и тот же самый коровник. Там нет столовой, куда собираются отовсюду и откуда уходят обратно. Дома в мошаве разбросаны как попало, в любом направлении, по разным рядам. Ей все равно. Завтра мы едем в Иерусалим и снова будем вчетвером. Другие руки обули ее в черные, начищенные до блеска полуботинки, наверно, ее собственные руки. За глажку отвечает мать, за чистку ботинок — отец.

— Господина узнают по обуви, — провозглашает отец.

— Завтра, завтра, не сегодня — так лентяи говорят, — хмыкает мать.

Это то, что девочке сообщают на иврите, на том языке, красивее и любимее которого не бывает. На нем говорят так, как будто читают стихи:

— *Реи ма яфа а-дерех л'ирушалаим!* Смотри, как красива дорога в Иерусалим... — произносит отец. — Бу-

дет замечательная церемония. Твою бат-мицву мы не отпраздновали — из-за положения, — но теперь вот поездка в Иерусалим. И церемония.

Деревья, деревья, деревья, камни, камни, камни. Тишина и шуршание, тишина и легкое постукивание.

— Может, есть в этом необходимость, может, так требуется, — размышляет отец, — может, у девочки сохранится что-то из этого в памяти. Там будут тысячи людей, может, это то, что нам необходимо. Купим цветы в хорошем магазине.

— В самом хорошем, какой только найдем, — говорит мать с раздражением.

Ничего толкового не было в их разговорах и никогда не будет. Только когда он вернется, вещи обретут смысл.

— Ты видишь? — сказал и начертил пальцем карту страны в пыли на обочине шоссе. — Это наша страна. Когда англичане уйдут, у нас будет государство, и в нашем государстве не будет ни городов, ни сел, а только кибуцы, и все они будут только наши. Превратим всю страну в кибуц, — пообещал ей и улыбнулся.

Карта страны в пыли на обочине шоссе была настоящей. Его улыбка была настоящая. Настоящим было утро, когда она видела его в последний раз. Его пробуждающееся ото сна лицо было настоящим. «Не поедешь? Скажи, что не поедешь! Я спрятала твою походную сумку — не скажу где. Можно забраться к тебе в постель? Капельку».

— Хорошо, десять минут.

За десять минут придумала что-то замечательное: вытащила быстренько немножко резинку из своей пижамы и привязала к резинке его пижамных штанов.

— Что ты делаешь, шалунья?

— Все! — рассмеялась смехом победительницы. — Теперь мы связаны навеки, понимаешь? Как сиамские

близнецы. Пойдем вместе в любое место. И будем смотреть на луну из одного и того же места. Не смейся, разбудишь родителей!

Пружины кровати сдержанно поскрипывают, из другой комнаты уже прорезается звук шаркающих по полу шлепанцев, и весь прекрасный домик, который она выстроила за десять минут, рушится. Что это было? Обещало вечное тепло и утекло как песок сквозь пальцы... Что-то живое и упругое попало под ладоню, что-то твердеющее в ее руках, настойчиво прикрываемых его покрасневшими руками, — разве был еще уговор про порядок вещей и их смысл?

Сквозь прозрачные линии, которые прочертил ее палец на грязном стекле вагонного окна, видны деревья и камни, деревья и камни. Тонкие стволы сосен были прорисованы под странным углом к покатой линии земли, не отвесно к ней, а все вверх, к небу, подвязанные к поддерживающим их колышкам. «Подпорки, — сказал отец со знанием дела. — Такие молоденькие сосны нуждаются в подпорках, чтобы расти прямыми, как дети нуждаются в поддержке родителей до определенного возраста». Но мать отказалась поддержать беседу. Пусть поспит немного, в поезде она легко задремывает. Странный способ укладываться спать изобрела для себя в последнее время. Прежде чем лечь, стоит столбом, как солдат по стойке смирно, возле кровати и поет с закрытыми глазами «В Галилее, в Тель-Хае» и когда доходит до: «Герой Йосеф Трумпельдор пал», выкрикивает последнее слово, с негнушейся спиной падает навзничь и наконец засыпает.

В Иерусалиме они шли втроем — покачиваясь, ослепленные солнцем, от цветочного магазина к площади, где должна состояться церемония. Просветленность растеклась по лицам и обнажала их перед слепотой камня. Девочка держала в руках огромный букет

цветов, каких никогда прежде не видывала и даже названий их не знала, и приоткрывала щелочки глаз в ожидании обещанного таинства. Скоро тут будет большой праздник, хотя здесь нет, как в кибуце, газонов с зеленой травой.

Словно темное пятно, быстро растекающееся по скатерти, так заполнялась площадь незнакомыми людьми, жужжащими сдавленным рыком, будто рой шершней. Тротуар покачнулся, когда появились военные машины с гробами. Две руки понадобились ей, чтобы удержать букет и не упасть. Никогда она не видела столько людей сразу вместе, столько лиц взрослых людей, залитых слезами или перекошенных в усилие не зарыдать. Чужие лица родителей. Это они: небольшого роста мужчина, стекла очков которого каждую минуту нуждаются с протирке; толстая женщина с беспокойными движениями. Рядом с ними девушка, лет пятнадцати или шестнадцати, поддерживает своих мать и отца, чтобы стояли прямо, как будто она подпорка. И как ей удастся это делать? Если бы только можно было выучиться этому прямо сейчас и не коستنеть вот так на месте с этими цветами.

И тут разверзлась земля. Завизжали тормоза, гробы сняли с грузовиков и расставили рядами на оцепеневшем тротуаре. Гробы из светлого дерева, свежего, как следует заколоченные гвоздями, все одинакового размера, все в точности одинаковые. На каждом надпись печатными буквами с именем и фамилией, как клеймо, вытравленное на ослиных задах в мошаве, чтобы знать, какому хозяйству они принадлежат, чтобы не ошибиться и не подумать, что один и тот же солдат был убит, и временно захоронен, и извлечен из могилы сто и тысячу раз, чтобы снова быть похороненным. Родители ринулись к гробам, как к раздаче продуктов, и тогда девушка рядом позволила своим родителям рухнуть и принялась колотить кулаками по гробу, как стучат по

двери уборной, которая заперта и не открывается, и орать во весь голос:

— Цион! Ци-он! Иди домой! Мама ждет тебя! Твоя мама ждет тебя, Цион!

Вопли взвились над площадью, как языки пожара. Женщина с прямыми платиновыми волосами в синем торжественном костюме упала на свой гроб с криком:

— Илан! Илан! Мальчик мой! Майн кинд! Иди домой!

Молодой мужчина с почерневшими скулами и выкаченными как у вола белками глаз задрал голову к пылающему солнцу и заревел протяжно и хрипло:

— Ми-ха! Ми-ха-эль! Отец твой нуждается в тебе!

Женщина, с аккуратно собранными на макушке в пучок и затянутыми тонкой сеткой волосами, рухнула с треском сломанной мебели и начала лупить себя со звоном по пылающим все ярче щекам, покрывающимся все более темными пятнами, в то время как изо рта и из глаз у нее текла слюна. Мужчина с желтыми усами пытался схватить ее за локти, но она отвесила ему мощный удар в лицо и закричала:

— А, ты!.. Зачем ты подписал, зачем, идиот проклятый?! Мальчику еще не исполнилось семнадцати! Зачем я позволила тебе подписать, скажи мне, скажи!

Он уже тоже бил ее и тоже кричал:

— А кто писал на конвертах «будь тверд и мужествен», кто?

Нашелся и такой, что пытался потихоньку приоткрыть крышку гроба с помощью отвертки — с явным намерением залезть в него. Другой старался подхватить гроб на руки, как младенца. А больше всего было тех, которые обнимали свежие гробы, пахнувшие клеем и деревом, припадали к ним всем телом, скребли по ним пальцами и ломающимися ногтями и теряли сознание. Отец квохтал как курица, одной рукой придерживая очки, а другой сжимая ее плечо. Мать ухватила рукой

растрепанные волосы у себя на затылке и изо всех сил рвала их, вжимала голову в плечи, прикрывала локтями уши, глаза ее были зажмурены и полны слез, рот разинут, она скулила, как шакал. Рычала вся площадь, мужчины и женщины, родители и братья, ашкеназы и сефарды. Завыли сирены «скорой помощи», девочка заткнула уши, затыкала и отпускала, затыкала и отпускала. Такая игра. Потом была какая-то процессия — до кладбища. Трудно припомнить.

С тех пор не произошло ничего. Девочка осталась там, на площади. Постоянная бледность покрывала ее постепенно удлинявшееся лицо. Зеленые газоны сделались серыми. Запахи цветов жесткими и восковыми. Обрывки воплей плавали в воздухе. Было тихое кровотечение, которое продолжалось несколько лет. Все лекарства, все места, все любви были созданы, чтобы остановить его.

ЖВАЧКА

Это был уже третий случай, когда меня разбудили среди ночи, натянули спортивный костюм поверх пижамы, сунули мне в одну руку любимую куклу, а в другую — сумку с какой-то одеждой и потащили к грузовику. На лавках вдоль бортов и на полу сгрудились дети, было несколько матерей. Мне сказали:

— Сиди тихо, не пой, это не экскурсия.

Первый раз это случилось зимой. Тогда грузовик доставил нас ночью в Реховот, мы попрыгали на землю возле того места, которое называется Институт Вейцмана, зашли в большой, хорошо освещенный зал. Пожилые женщины раздали нам чай и бутерброды с жидким, красным, невкусным повидлом, потом спросили каждого, есть ли у него родные и где они живут. После этого мы опять забралась в грузовик и поехали в Тель-Авив. Там высадились на набережной. Море было совершенно черное, и волны казались целой флотилией белых лодок, нагруженных нелегальными иммигрантами из Европы, которым никак не удастся достичь берега. Мы шли, я и моя мама, по кромке берега, а потом свернули в улочку, на которой еще не было тротуаров, только глубокий рыхлый песок с обеих сторон мостовой. У мамы уже не было сил тащиться дальше с чемоданом в руке и на высоких каблуках. Когда мы добрались до дома тети Ханы на улице Жана Жореса, сделалось не так

темно. Мама надавила на электрический звонок, дядя Моше открыл дверь и спросил:

— Что случилось?

Мама сказала:

— Нас эвакуировали, эвакуируют детей до четырнадцати лет, потому что мошав оказался на линии фронта. Мы сбежали из-под артиллерийского обстрела. Когда у вас будет телефон?

Тетя Хана встала и уложила меня на тахте возле моих двоюродных братьев Авнера и Амнона. Днем тахту можно сложить и придвинуть к стене за зеленой занавеской, под книжными полками. Мама уехала обратно в мошав и оставила меня тут на неделю, потому что в мошаве так и так нет занятий, и я научилась тогда чистить крутые яйца и играть в шашки — двоюродный брат с нескрываемой радостью обыгрывал меня, а тетя взяла нас в зоопарк. Это то место, которое я больше всего люблю в Тель-Авиве, особенно газелей и оленят, которых можно кормить банановой шкуркой или даже листьями с кустов, растущих возле ограды. И тут приехала мама, чтобы забрать меня домой.

В другой раз грузовик направился в Кфар-Билу, и всех детей развели по разным домам. Меня высадили возле домика, покрашенного в голубой цвет, с кустиками помидоров возле крыльца, с мальчиком, которого звали Йоселе, и осликом во дворе. Я жила там несколько недель, ела много сыра и творога, которые производили в этом хозяйстве, и играла с осликом. В вечер пасхального седера мне в косы вплели белые ленты, и я читала четыре традиционных вопроса. Все хвалили меня, но я скучала по родителям. Вернувшись домой, я увидела, что в сосновой роще возле нашего дома стоят военные джипы и солдаты ходят к нам принять душ. В душе валялись осколки снарядов, а во дворе я даже нашла большую гильзу, которую можно было приспособить под вазу для цветов.

Теперь это уже третий раз, и я уже не пугаюсь, потому что эвакуация проводится не среди ночи, а под утро. Мы с мамой едем в автобусе, который везет нас в такое место, где никого нет. Это ничейное место, и никто не живет тут. Его зовут Яфо, но можно называть его также Джебелия, здесь стоят двухэтажные каменные дома со ступенями из розового мрамора, с каменными полами, похожими на цветастый ковер, и красивыми террасами, навесы над которыми поддерживают тоже каменные колонны. Когда сидишь на такой террасе, чувствуется дуновение ветра с моря, и это бывает очень приятно. Но в квартире, где нас поселили, много грязи и мусора и целые груды дохлых темно-коричневых тараканов с очень длинными усамми. Поэтому мама все время чистит и подметает дом и предупреждает меня, что нельзя пить воду из крана, а можно только ту, что она прокипятила. Кипяченая вода невкусная. Мама все время ищет у меня в голове, не завелись ли там вши, и проверяет одежду, не заползли ли туда клещи. Я не знаю, куда эвакуировали других детей из мошава, потому что не вижу тут никого из наших знакомых, только странных детей и взрослых, которые говорят на непонятных языках. Это не идиш — идиша я не знаю, но различаю его звучание. Мама говорит, что это румынский и болгарский, а может, даже турецкий или греческий.

Недавно возле нашего дома остановился грузовик, с него прыгнули люди, которые зашли в соседние квартиры и вытащили оттуда стулья с плетеными сиденьями, этажерку с красивой резьбой, свернутые в трубку большие ковры и черный рояль. Мама объяснила, что это торговцы, и этим все сказано. «Торговец» — нехорошее слово, это как буржуй или рынок, это не для нас, это то, чем мы никогда и ни за что не будем.

Вчера мама поехала привезти «продукты», которые распределяют на рынке — что делать! — на улице Ле-

вински в Тель-Авиве, и вернулась с пачкой соленого сливочного масла, жестянкой растительного масла «кокозин», картонной коробкой, полной яичного порошка, и сильно покрасневшими глазами. С соленым маслом я познакомилась благодаря посылкам, которые мы получали из Америки. Меня напугали ее глаза, но я ни о чем не спросила. Тогда она спросила меня, не хочу ли я пойти в зоопарк. Я очень обрадовалась, потому что зоопарк это место, которое я больше всего любила в Тель-Авиве. В зоопарке она сразу же, возле самого входа, опустилась на скамейку у клетки с косулями и сказала, чтобы и я села. Дала мне банан. Я очистила его от шкурки и начала есть, и тогда она спросила: «Почему ты не спрашиваешь, отчего у меня красные глаза?» Тогда я спросила, и она сказала, что мой старший брат, который сейчас в «Пальмахе», ранен. Я спросила, когда он поправится, и мама сказала, что он никогда не поправится, потому что он скончался от ран. Я не поверила ей, подумала, что она просто так хочет позлить меня. Потом подумала, что, может быть, это правда, и ужасно рассердилась на нее — почему она ничего не сделала для того, чтобы этого не случилось! И весь зоопарк вдруг сделался черным, и мне сделалось ужасно больно, я смотрела на мамины глаза и не могла плакать, и не могла доесть банан. Я сидела на скамейке и совершенно не чувствовала своего тела. Косули и олениа в клетке казались ненастоящими, серыми и подвешенными в воздухе. Я не помню, что говорила мама и как мы вернулись в Яфо, или в Джебелию, или как бы оно там ни называлось, это место. Ночью я не спала и все время слышала, как мама подвывает, как шакал, и не знала, что мне делать, а только хотела убежать, но не знала куда.

Утром мама зажарила мне яичницу из яичного порошка на масле «кокозин», которое было в «продуктах», но я не хотела есть и не хотела пить горячую

воду, которую она накипятила, только чувствовала шум в ушах и легкую тошноту.

— Может, пойдешь погуляешь немного? — спросила мама потухшим и осипшим от рыданий голосом. — Может, когда вернешься, появится аппетит. Возьми пока что бутерброд с маслом. — И намазала на черствый ломоть белого хлеба толстый слой желтого и блестящего соленого масла. Я послушно спустилась с бутербродом в руке по каменным ступеням на площадку, залитую ослепительным солнечным светом. Я старалась исполнять домашние законы, которые включали в себя запрет на хождение босиком, на свист и на жевательную резинку. Запрет на эти вещи придавал им несказанное очарование, поэтому ходить босиком по берегу моря в моих глазах было наслаждением не от мира сего. Свистеть я научилась, когда вызвалась перекачивать керосин из канистры в бутылки металлическим насосом, производившим невероятный скрежет и заглушавшим мои тренировки. Жвачку я жевала потихоньку, когда моя самая лучшая подруга Мирьям передавала мне ее уже изжеванную изо рта в рот, вместо того чтобы выплюнуть. Вкус рта моей любимой подруги наполнял мой рот сладостной влагой.

Я бродила вслепую под ослепительными солнечными лучами. Мне некуда было идти. Я обсасывала хлеб, намазанный соленым маслом, и чувствовала все нарастающую жажду. Блуждала так, пока не уперлась в ограду из колючей проволоки. За оградой находились темнокожие мужчины с усами и в куфиях*. Все они шагали с поднятыми вверх руками, а за ними следовали молодые солдаты в отглаженной военной форме цвета хаки. Мальчик с обритой наголо головой играл

* Куфия — мужской головной платок во многих арабских странах. С двадцатых–тридцатых годов прошлого столетия куфия превращается из обыкновенного предмета атрибута одежды феллаха (крестьянина) в политический символ.

с поломанным велосипедом. К ограде приблизилась девочка моего возраста, темнолицая, одетая в грязное платье, изначально ярко-розового цвета. На шее у нее была нитка голубых и зеленых бус. Мы находили множество таких в оставленных квартирах. Она жевала жвачку. Глаза ее были затянуты гноем, по ним ползали мухи. Она не пыталась прогонять их, только жевала жвачку и смотрела на меня. Она жевала жвачку, а я облизывала бутерброд с соленым маслом, который вызывал у меня ужасную жажду. Мне было ясно, что она арабка и что, если я заговорю с ней, она не поймет. Я показала рукой на ее жвачку и протянула ей бутерброд. Она тотчас поняла, вытащила изо рта жвачку, просунула свою худую ручонку сквозь ячейку ограды и всунула изжеванную жвачку мне в рот. И только тогда взяла мой бутерброд с соленым маслом и, не глядя на меня, отхватила от него здоровенный кус. Мы продолжали стоять одна против другой и с серьезным деловитым видом смотреть друг на друга. Она оближивает бутерброд с соленым маслом, а я жую жвачку. Мухи время от времени взлетали с ее глаз, но тотчас возвращались на место. Покончив с бутербродом, она повернулась ко мне спиной. По всей длине платья тянулись пуговицы. Она исчезла. Я продолжала бродить по площадке и пыталась извлечь удовольствие от влажности, которой жвачка наполнила мой рот, и от прикосновений зубов и языка к вязкой и податливой резинке. Я знала, что выпавшее на мою долю наслаждение не может быть продолжительным, а также что все это нужно сохранить в абсолютной, строжайшей тайне.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

У Нира была кожаная куртка темно-коричневого цвета. Возможно, она досталась ему от брата-летчика, или мне просто казалось так. Я могла уловить в темноте ее запах, смешанный с запахом слив, которые мальчики ходили *таскать*, и приносили, словно не выказывая никакой гордости, свою ароматную добычу нам. Девочки, поджидавшие их возле кустов жимолости, окаймлявших сад семейства Ашкенази или любого другого хозяйства в мошаве — не наш, разумеется, потому что обдирать сливы с наших собственных деревьев не называется «таскать», их можно получить от родителей на блюдечке днем, из холодильного ящика, без того чтобы среди ночи перелезть через забор сада Ашкенази. Кроме того, с семейством Ашкенази мы были не так уж знакомы, они недавно появились в мошаве — прибыли из Болгарии, страны, о которой слышали только те, кто собирал марки. И именно у этих Ашкенази был замечательный сорт «санта роза», а не только «классическая домашняя», и «келси», и «огдан», и «венгерка», которые имелись у всех. В темноте трудно было разглядеть, но мне казалось, что Нир направляется с добытыми сливами напрямик ко мне — и этим все сказано. «Санта роза» стекала по моему подбородку и по рукам, которые делались липкими и душистыми.

Не было шанса встретить его по дороге в школу. Мальчики ездили на велосипедах с рамами, все вме-

сте, у меня был дамский велосипед с широкими шинами, удобными для езды по красноземным проселкам мошава. Зимой посреди дорожки возникала узкая, но довольно глубокая промоина, и ослы умели осторожно тащить телеги, так, чтобы колеса оставались с двух сторон русла. В прошлом году я впервые управляла телегой, в которую был впряжен наш осел. Мы ехали в упаковочный цех. На телеге стояли коробка с клементинами, которые я сама собрала, осел несся как сумасшедший и ревел во всю глотку, может, от радости и гордости, что двенадцатилетняя девочка правит им и что это я. Я поняла, что он ревет в мою честь, и это позволило мне почувствовать, что он в самом деле особенно любит меня.

На обратном пути из школы в мошав мы как раз возвращались вместе — мальчики и девочки. На велосипедах — почти у всех уже с третьего или четвертого класса были велосипеды. По дороге мы останавливались в сосновой роще возле кладбища и прислоняли велосипеды к стволам деревьев — пускай отдохнут. Некоторых девочек мальчики подвозили, посадив к себе на рамы, и они держались руками за руль велосипеда. Были мальчики, которые умели ездить стоя на раме и раскинув руки в стороны. Были и такие ребята, которые тренировались выписывать «восьмерки» между деревьями и, когда им это удавалось, кричали «ва-у!», чтобы все видели. В особенности девочки. Некоторые рвали грейпфруты на плантации цитрусовых возле пасеки и терпеливо очищали их от кожуры — вначале толстой, внешней, а потом и тоненькой, между отдельными дольками. Давид из нашего класса, прозванный философом за то, что все время читает книги, объяснил нам с таинственным выражением на лице, что у кожуры грейпфрутов такой запах, потому что в ней содержатся эфирные масла. Он читал книги все время, потому что его мать была

поселковой сумасшедшей. Говорили, что она сошла с ума, когда его отец записался в армию, — от страха, что с ним что-нибудь случится. Я была среди тех, кто чистил грейпфруты и слушал Давида-философа, потому что предпочитала не интересоваться Ниром и не знать, выписывает он «восьмерки» между деревьями или нет.

Каждый день в семь вечера я отправлялась на молочную ферму, чтобы принести оттуда литр молока, — у нас не было коровника, а в семь часов те, у кого имелся коровник (а это почти все жители мошава), доставляли молоко на молочную ферму, и можно было купить его у тех, кто производил самое жирное. Раз в неделю в лаборатории определяли жирность молока из каждого хозяйства, и это, в сущности, служило показателем престижа той или иной семьи в поселке. Когда упоминали семейство Лейбовичей, то говорили: «У них всего-навсего три и две десятых». А про Ланцевицких говорили: «Они добились семи и четырех десятых, и это говорит само за себя». У меня имелся специальный кувшин для молока, оловянный с ручкой. Он вмещал два литра молока — на случай, если мама захочет приготовить простоквашу или творог. А если нет, то достаточно одного литра. Это было моей обязанностью — обеспечить молоко, и мне полагалась за это зарплата: один миль за каждый доставленный литр. Денег я не получала, но у меня была тетрадка, в которую я записывала, сколько мне причитается. Родители полагали, что это полезно для меня — уметь считать деньги. Они не говорили, когда я на самом деле получу заработанное.

Все ребята из моего класса являлись вечером на молокозавод, между семью и восемью, с продукцией из своих хозяйств, но не в одно и то же время. Я должна была дожидаться молока из коровника Ланцевицких, потому что у них «семь и четырех десятых», и тотчас

возвращаться домой, потому что уже темно. У родителей Нира было всего «пять и восемь десятых».

Уже смеркалось, я шла с пустым кувшином в руке по рыжей красноземной тропинке и надеялась на что-то неясное. По дороге, за изгородью из колючей проволоки я увидела цветущий розовый куст. Розы были чудесные, бледно-розовые или слегка оранжевые чайные розы, пышные, царственные. Я просунула руку за колючую проволоку и попыталась сорвать один цветок. Меня вдруг охватил приступ ужасного упорства. Рука моя была расцарапана и колючей проволокой, и шипами роз, но я не сдавалась и, ошеломленная пьянящими запахами, окутавшими меня во тьме, продолжала изо всех сил тянуть стебель. Наконец цветок был у меня в руке, и я подсунула его под одну из двух заколок, поддерживавших мои волосы над висками. И так пошла на ферму.

Молочная ферма помещалась на заднем дворе сельского магазина, в таком месте, куда могли подъезжать грузовики. Железные ступени вели со двора к рампе, тоже железной, на которой стояли огромные молочные бидоны, ожидавшие погрузки на машины кооператива «Тнува». В здании молокозавода молоко из всех хозяйств сливалось в гигантские котлы и перемешивалось в них. И так, уже перемешанное, оно отравлялось в «Тнуву». Но люди в мошаве отлично знали, кто есть кто. Я ждала молока от Ланцевичских и была не единственной поджидающей его. Гиора, сын водителя Шмулика, тоже ждал, потому что у них тоже не было коровника и они тоже знали, у кого сколько процентов жирности. Шмулик, водитель кооператива «Эгед», жил у самого въезда в поселок, там, где кончается «подъем Шмулика» или, на языке велосипедистов, «большой подъем», и начинаются тропинки краснозема, не имеющие никаких названий. Шмулик был низенький и толстый человек с добрейшим серд-

цем, и у него были красные, как два спелых яблока, щеки, и таким же был его сын Гиора, который учил нас курить сигареты и разрешал своим друзьям из класса, в особенности Ниру, своему лучшему другу, утром в субботу, когда родители еще спали, немного поводить отцовский автобус. Гиора поглядел на мою голову и сказал: «Какая красота!» Щеки его сделались не такими красными, а глаза грустными и неподвижными. Но что мне за дело до Гиоры? Я хочу, чтобы пришел Нир.

С молоком Ланцевицких прибыла моя лучшая подруга, Яэль Ланцевицкая, у которой косы кончались завитушками и уже появились прыщики на лице, но у нее были самые красивые и самые загорелые ноги в классе и очень много подружек, каждая из которых считала себя самой лучшей ее подругой. Яэль привезла молоко на телеге, в которую был впряжен осел, и показала мне, что осел высунул из своего живота — что-то вроде черной трубы, достающей почти до земли. И тотчас велела не смотреть на это. Я почувствовала, что в этом есть что-то нехорошее.

Нир не пришел, и я должна была вернуться домой. Приемщик записал, что я взяла литр молока, в полной темноте я вышла из здания молокозавода — уличного освещения еще не было в мошаве, — споткнулась вдруг и упала вместе с кувшином в ложбину на дороге. Молоко пролилось на меня и на землю. Только капелька осталась в кувшине. Что было, когда я добралась домой, совершенно не помню. Я всегда стараюсь забыть неприятные вещи.

Назавтра, когда мы возвращались из школы, велосипедная цепь все время соскальзывала у меня со «звездочки», так что мне то и дело приходилось останавливаться и возвращать ее на место. Руки у меня были черными от машинного масла. Я не плакала — я не так уж легко ударяюсь в слезы. Вдруг я увидела, что

Нир притормаживает возле меня, перекидывает ногу через раму, спрыгивает на землю и смотрит — не на меня, только на цепь моего велосипеда.

— Я могу починить это, — сказал он.

— Мои родители отвозят велосипед в Петах-Тикву, если он ломается, — объяснила я.

— Я могу сам починить это тебе, — повторил он. — Могу прийти к вам после обеда и починить.

Я не так уж поверила ему. Старалась заглянуть в глаза — зеленые с крапинками глаза, — но он смотрел только на цепь. На нем была кожаная куртка темно-коричневого цвета. Волосы у него тоже были темно-коричневые, прямые и блестящие.

— Так я приду, да? — спросил он.

— Ладно, приходи, — согласилась я слабым и как будто равнодушным голосом. Но это говорил мой рот, а не я.

Я больше не пыталась вернуть цепь на место, пошла потихоньку пешком, ведя велосипед за руль, и не знала, что думать. Только чувствовала, что мой велосипед, обычно такой тяжелый из-за его широких шин, сделался совсем легким и почти летит по воздуху.

Нир пришел к нам в четыре после обеда. Ребята из моего класса никогда не приходили ко мне, потому что у нас на стене гостиной, сразу у двери, висели фотографии моего брата, который погиб на войне, — в серебряных рамках, и письмо Бен-Гуриона в черной рамке, и благодарственные грамоты за участие в посадке деревьев от Фонда основания в деревянных рамках, и тут же у стены стоял буфет, на котором тоже были фотографии брата в различном возрасте, и большая серебряная ваза с каллами, высаженными в палисаднике специально для того, чтобы ставить их в эту вазу. Он пришел, когда мама отправилась в поселковую лавку, а папа — что-то преподавать трудновоспитуемым девочкам. Он скинул свою кожаную

куртку, засучил рукава до локтя, слегка поморщился и принялся разбирать велосипед. Я видела, что у него крупные красные губы и прямой блестящий нос. Я смотрела на его нос и губы и не знала, что думать. Но была довольна.

Когда родители вернулись, они застали нас обоих с черными от машинного масла руками возле моего велосипеда, стоящего вверх колесами со снятой цепью. По земле были рассыпаны металлические шарики, которые называются *кугелагеры*. Это Нир успел совершить в течение примерно часа, но дальше он не знал, что делать.

Я не понимала, что чувствую. Была немного разочарована, но нисколько не сердилась на него. Старалась не особенно задумываться над этим. Ужасно радовалась, что он пришел и стал копаться в моем велосипеде. Видела, что он опускает голову и не решается глядеть на моих родителей и на меня, и пролепетала почти шепотом, что завтра родители поедут в Петах-Тикву и отвезут велосипед в починку, и все будет в порядке. Тогда он поднял на меня свои зеленые с карими крапинками глаза, влажные и слегка навывкате, как у только что родившегося теленка, и наконец увидел меня.

Нир ушел и сказал мне, что он будет сегодня на молочной ферме в половине восьмого. Я тотчас подумала, что, может быть, снова найду розу, которую смогу приколоть к волосам. Что еще я могу сделать? Неизвестно. Хотелось сделать что-нибудь еще. Дома у нас была книга со стихами Бялика, которой папа пользовался, когда преподавал в четырнадцатом классе. Не так давно он читал мне стихотворение «Ради яблока». Папа научил меня читать и писать, когда мне было пять лет, по очень простой системе: читал мне всякие вещи и предлагал переписать их красиво от руки, и потом самой прочесть, что я написала. Первым произведением,

которое я переписала и прочитала, был псалом, начинавшийся словами: «Счастлив человек, не ходивший по совету нечестивых и на пути грешников не стоявший». В нем есть эти прекрасные строчки про праведника, который будет как дерево, посаженное при потоках вод и плод свой дающее в срок. Мне казалось, что это про моего папу, потому что он дал мне этот псалом. Так я научилась переписывать всякие сочинения, которые мне нравились. После того как папа прочел мне «Ради яблока», я переписала все стихотворение красивым почерком. Теперь я взяла этот лист — стихотворение так подходило к тому, что, как мне казалось, я чувствую, — и вложила в конверт, который оставила возле кувшина для молока. Вечером, отправляясь за молоком, взяла с собой конверт. Нир пришел вместе с родителями и сказал им, что еще останется на ферме, потому что договорился встретиться здесь с Гиорой. А на самом деле он остался со мной дожидаться молока от Ланцевицких. После того как молочник налил мне литр молока, он спросил:

— Можно проводить тебя?

Он произнес это почти шепотом, и поэтому я ощутила волну жара, заливающую живот, у меня начали немножко дрожать колени, так что пришлось капельку прищурить глаза, но я тотчас открыла их и сказала: «Ладно». Это все, что я сумела выдать из себя. Он никак не отреагировал на розу, которая была у меня в волосах, так что я даже не знала, обратил ли он на нее внимание.

Мы шли в темноте, в одной руке я держала кувшин с молоком, который немного постукивал, хотя не был пустым, а плечом прикасалась к кожаной куртке Нира, тепловатой и гладкой, как ослиная спина. Я вдруг начала дрожать всем телом. Нир почувствовал, что я дрожу и, чтобы я не мерзла, положил мне на плечо рукав своей куртки вместе с рукой, но

очень осторожно, так что я почти не чувствовала его прикосновения и даже не была уверена, что это на самом деле. Но потом я скосила глаза и посмотрела, и увидела, что это правда. Дыхание мое остановилось, ноги продолжали двигаться, но тело окаменело — я боялась, что, если хоть что-то во мне шевельнется, все то, что происходит сейчас, изменится. Я не хотела, чтобы что-то изменилось, я хотела, чтобы все так вот и оставалось на всю жизнь. Глаза мои на минутку зажмурились, и мы оба, Нир и я, оказались вдруг в ложбине посреди дороги. Я упала первая, на спину, а Нир, рука которого лежала на моем плече, грохнулся вслед за мной, прямо мне на живот. Немножко молока пролилось мне на блузку, потому что я очень крепко держала кувшин и была еще со вчерашнего вечера знакома с этой коварной выбоиной, подкарауливающей очередную жертву. Мне хотелось сказать что-нибудь вроде «Ничего, не страшно, давай вставай», но язык не слушался меня. Тело Нира накрыло меня, как тяжелое одеяло или как вода в бассейне, когда ныряешь поглубже. Я почувствовала, что хочу завернуться в него и завернуть его в себя. И еще почувствовала на своем лице что-то мягкое и влажное, что ползет и рыщет, и поняла, что это его губы, ищущие моих губ. Я не шевельнулась. Позволила его губам продолжать поиск. И почувствовала его губы на моих губах. Они были такими нежными! Нежными как птенец, выпавший из гнезда, у которого вообще нет крыльев, только тельце, покрытое синюшной кожей, сквозь которую можно видеть биение сердечка и содержимое животика. Мои губы ощущали его губы, как будто они были рукой, обхватившей с великим страхом и великой осторожностью такого птенчика, который может погибнуть от грубого прикосновения. Казалось странным, что губы мальчика могут быть такими нежными, потому что в фильмах я видела

ковбоев, целующих женщин, и была уверена, что у мужчин все сильное и жесткое.

Мы поднялись с земли без единого слова и пошли дальше по направлению к моему дому, и Нир все время держал свою руку у меня на спине и прижимался ко мне этой курткой, которую я так любила. Вернувшись домой, я заметила, что роза выпала у меня из волос по дороге, возможно, лежит теперь в прогалине, но и стихотворения Бялика тоже не было. Наверно, оно тоже осталось там, в промоине, вместе с розой и пролитым молоком.

Ночью я не могла уснуть и все думала, что же мне сделать, чтобы Нир не перестал любить меня. Утром я попросила маму, чтобы она погладила мне белые ленты и помогла вплести их в косы и подвязать большими бантами за ушами. Сказала, что это из-за того, что мы устраиваем сегодня суд над царем Иродом, и я буду обвинителем — это была правда, но не вполне правда, потому что банты мне были нужны не ради Ирода. В классе я не слушала, что говорит учитель Йосеф, а только смотрела все время на Нира. Но он не смотрел на меня. Почему он не смотрит на меня? Неужели он уже не любит меня? А может, он стыдится — вдруг кто-нибудь заметит, что он смотрит на меня? Это казалось мне гораздо более досадным, чем его неудачная попытка починить мой велосипед. На суде над Иродом я изо всех сил старалась убедить Гиору, который был судьей, в виновности Ирода. Я улыбалась, говорила ему «Ваша честь, господин судья» и делала всяческие движения, которые заставляли мои банты порхать над ушами. Яэль, которая была защитником Ирода, просила Гиору учесть, что царь был великим строителем и, в частности, перестроил и великолепно отделал Иерусалимский храм. И вообще, она пыталась привлечь внимание Гиоры к своим стройным и загорелым ногам, но как раз в тот день на лбу и на щеках у

нее высыпало множество прыщиков, так что ничто не помогло, и Ирод был признан виновным. Это очень-очень порадовало меня, я подумала, что, может быть, не только Нир, но и Гиора любит меня. На перемене Нир похлопал Гиору по плечу и сказал: «Молодец!», и они отправились вместе играть в «штандарт». Мне он не сказал ничего.

Вечером мы встретились как обычно, и мальчики, и девочки, и отправились «таскать» абрикосы из сада Шенкиных, который на краю поселка. Своих детей у Шенкиных не было, у них жили только ребята из «Молодежной алии», которые прибыли из Румынии и Греции и очень тяжело работали. У Шенкиных был огромный двор, и высокий забор, и две собаки, правда, они были привязаны. Можно было бросить им какую-нибудь еду, и тогда они накидывались на нее и не лаяли. В тот момент, когда дверь Шенкиных открылась, мальчики снова перемахнули через забор и спрыгнули на землю. Девочки поджидали их возле кустов. Карманы мальчиков были набиты абрикосами. Я сидела на земле, по-турецки поджав ноги, и ждала. Нир и Гиора, которые всегда все делали вместе, подошли ко мне с полными горстями абрикосов. Было темно, и я не могла видеть, смотрят ли они друг на друга. Я знала, что должна взять абрикосы у них обоих, но очень-очень хотела поступить как-нибудь иначе. Чего я хотела? Хотела иначе. И взяла у Гиоры два абрикоса, и все. У Нира не взяла ничего. У нас не принято было говорить «спасибо» или еще что-нибудь такое. Мальчик дает, а девочка берет — и этим все сказано. Нир стоял там и вначале не знал, что делать. Он не спросил меня, хочу ли я абрикосы, которые он принес, или не хочу. Он и Гиору не спросил, что это тот вдруг принес мне абрикосы? Он бросил абрикосы, которые держал в руке и которые собирался отдать мне, и, недолго думая, набросился на Гиору. Бил его по лицу и повалил

на землю. Гиора извивался, брыкался, вопил, плевался. Но не сумел вырваться и вскочить. Все мы собрались и стояли вокруг, и орал, как полагается в таких случаях: «Вмажь ему! Вмажь ему — дай ему в зубы!» Я чувствовала, что все «за», все хотят, чтобы они дрались и били друг друга, только всем им было не важно из-за чего, а я хотела, чтобы они дрались из-за меня. Это то, чего я хотела. Чтобы Нир был готов драться за меня. И он действительно дрался и победил. Но когда они поднялись с земли, грязные и измазанные в абрикосовой жиже, я приблизилась к Гиоре и помогла ему привести себя в порядок. Почему я это сделала? Может, чтобы посмотреть, что Нир будет теперь делать. Как он продолжит драться за меня.

Нир ничего не сделал. Он не стал провожать меня домой. На завтра в классе он вообще не смотрел на меня. На перемене они с Гиорой пошли играть в «штангарт». Вечером, когда мы опять отправились «таскать», ни один из них не принес мне ничего.

ИСЦЕЛЕНИЕ

У Мейрав не прекращался кровавый понос, поэтому было решено отправить ее к доктору Шибя в больницу Тель а-шомер. Где, когда и на каком языке было принято это решение, оставалось в той запретной зоне неведомого, где пребывало большинство вещей. Исполнение решения было отложено до летних каникул, поскольку было ясно (кому и в силу чего — эти материи тоже находились за пределами доступного понимания), что речь идет о госпитализации, возможно, продолжительной.

Ей было тринадцать лет, и она была успешна во всем: в учебе, в игре на фортепьяно, в рисовании, в общественной работе. У нее были косы, вызывающие зависть у подруг. Беременные учительницы утверждали, что весь урок смотрят на Мейрав, чтобы младенец, который родится, был похож на нее. Она приходила из школы домой, ела, не ведая, что именно отправляет в рот, и тотчас удалялась в свою комнату, закрывала дверь и принималась за уроки, потом играла на пианино (когда Мейрав играет, в доме должна быть тишина), а затем уже бежала к своей лучшей подруге Яэли. Засыпая вечером и просыпаясь утром, она слышала за стеной, в спальне родителей, тяжкие вздохи, рыдания, напитанные безысходным отчаяньем вопли и злые упреки на том ужасном языке, на идише. Они никогда не говорили: привет, спасибо, приятного аппетита,

до свиданья, добрый день, спокойной ночи, — только спорили и ссорились на идише, мама драла волосы у себя на голове и лупила себя по щекам, а отец бился головой о стену и пытался вонзить кухонный нож себе в грудь, в то место, где на рубашке пуговицы, до тех пор, пока мама силой не вырвала нож у него из руки. Оба они были учителями в той школе, где учились Мейрав и все дети поселка. В ее дневниках не было записей об опозданиях или пропусках занятий. Она собрала для себя небольшую корзинку со свечами и спичками, чтобы бежать из дому и начать другую жизнь, полную приключений, жизнь, в которую не смогут совать свой нос взрослые, но откладывала это до летних каникул. Когда начались поносы и кровотечения, это присовокупилось к тем ее бедам, о которых не обязательно сообщать любому и каждому, и к маминому «не всё ты должна знать». Она была тринадцатилетней девочкой и, не ведая о том, готовилась умереть.

Рядом с черными кожаными босоножками на широких каблуках — большой палец вытарчивает вбок — по светло-серому бетонному тротуару, извивающемуся, как пряди кос, между больничными корпусами, переступали ее новенькие светлые туфельки, крепкие, словно сделанные из дерева. Беленькие домики, утопающие в сонном полуденном покое среди цветущих кустов и декоративных деревьев. Две белые бабочки, с ослепляющей скоростью мерцающие в воздухе, играют в догонялки. Теплое дуновение летнего ветерка и совершеннейшая тишина. Это было место не менее красивое, даже более приятное и более тихое, чем кладбище на горе Герцля. Здесь тоже все ходили медленно и спокойно, некоторые, одетые в синие пижамы, валялись на травке в тени деревьев. Мать не торопилась, не сердилась, не рыдала. Она сказала:

— Настоящий санаторий. От одной только тишины тут можно выздороветь.

Мейрав надеялась, что скоро она исчезнет вместе со своими огромными грудями и оставит ее одну в этом тихом месте.

Доктор Шиба, заведующий 37-м терапевтическим и женским отделением, оказался невысоким сутулым человечком с лысиной, обрамленной пучками жидких блекло-серых волос. Приставил к уху ладонь и слегка скривил физиономию, слушая, как мама громким голосом повторяет робкие ответы больной и нагромождает подробности и разъяснения. Глухота мучительно отражалась в его взгляде. Мейрав очень хотела, чтобы мама уже ушла, и она смогла бы остаться с ним наедине. Ей нравился его голос, нежный и полный терпения, нравилось, что волосы у него на голове тоненькие, как у младенца, и что он слегка наклоняет голову, когда говорит. Она перебросила косы со спины на грудь, чтобы он увидел, какие они длинные.

Ее одели в голубую пижаму и приготовили ей койку в 37-м терапевтическом и женском отделении, где доктор Шиба должен был осмотреть ее. Он сказал маме:

— Вы можете спокойно отправляться домой, она в надежных руках.

37-й корпус был узким и тесным, койки расставлены одна возле другой вдоль длинной стены, сбоку остается проход, по которому двигаются тележки с едой и лекарствами. Приемная доктора Шибы находилась возле входа, напротив была комната медсестер, а рядом маленькая комнатка, дверь которой всегда была закрыта, время от времени в нее завозили женщин, к которым были подсоединены всякие трубки. Одна такая, с трубками, торчащими из носа и из живота, лежит теперь как раз возле Мейрав и храпит. Издает такие звуки, будто храпит. За ней пустая койка, а с другой стороны лежит женщина не старая и не молодая,

держит в руке зеркальце и напряженно вглядывается в него. Второй рукой она выдергивает одну за другой волосинки из бровей. В пальцах у нее пинцет, подкарауливающий волосинку, как кошка, выслеживающая птичку, и стремительно, будто молния, накидывающаяся на нее. Каждый выдернутый волосок вызывает на ее лице победную улыбку. Закончив это занятие, она вытаскивает из своей цветастой туалетной сумочки крошечную коробочку, и небольшой щеточкой наносит на ресницы черную краску. Потом она вынимает из цветастой сумочки золотой металлический цилиндр и красит губы красно-свекольной помадой. У нее красивые губы. Лежа расчесывает свои прямые черные волосы и раскладывает их по груди и по плечам. Затем она стрижет, полирует и красит ногти на руках. Видит, что Мейрав смотрит на нее, и говорит:

— Хочешь тоже? Попробуй, не пожалеешь. Будешь красивой. Как тебя зовут? Меня — Циона.

Мейрав отрицательно крутит головой, и Циона начинает петь что-то по-арабски — слышится как *Айлю ли калям, айлю ли калям...* По выражению ее лица видно, что в песне рассказывается о чем-то смешном, неприличном и замечательном. Она говорит:

— Если бы у меня были ноги, я бы делала и педикюр.

Мейрав все еще была под впечатлением этого колдовского голоса и необыкновенной внешности соседки, когда ее позвали на обследование, и потому отнеслась ко всем приготовлениям с тем абсолютным равнодушием и отстраненностью, которые усвоила для себя в отношении всего, что ей не нравилось, и повиновалась распоряжениям доктора Шибы с тем же послушанием, как к указаниям родителей и учителей, что позволяло ей постоянно зарабатывать их любовь. Доктор Шiba положил теплую и нежную руку ей на ягодицы и спро-

сил, какую пьесу она разучивает сейчас на рояле, тем временем засунув другой рукой холодный металлический инструмент в ее задний проход. Чтобы ответить ему «сонату Моцарта», она должна была прекратить ёжиться и дрожать, и тогда он поинтересовался номером сонаты, и принялся напевать ее, и сказал, что в больнице в клубе врачей есть рояль, и если она хочет, он даст ей ключ, и она сможет ходить туда по утрам играть. Он даже придет послушать. Ей не впервые делали это обследование, и, когда оно окончилось, она не захотела тотчас забыть про доктора Шибу, а как раз хотела смотреть на него. Все, что она видела у него на лице, выглядело вытянутым наискосок, потому что, разговаривая с людьми, он склонял голову к плечу. Как будто взвешивал то, что произносит, и не был уверен, что вес правильный.

— Мы пока не знаем, что с тобой, так что оставим тебя немножко у нас и понаблюдаем, хорошо? Ты делай тут все в этот горшок, хорошо? А это ключ от клуба, ты отдохни немного, и тогда я возьму тебя туда и покажу тебе рояль, хорошо?

Мейрав вернулась на свою кровать и нарисовала в блокноте, который захватила из дому, женщину с трубками в носу и на руках — так, как она лежит на койке напротив, с разинутым ртом, в котором нет зубов, с закрытыми глазами и жидкими седыми волосами, со всеми ее морщинами и пятнами. Карандаш был плохо заточенный, и он очень даже подходил. Получился неплохой рисунок, со светом и тенью. Она трудилась над ним больше часа. Чтобы получилось все в точности как на самом деле, она спустилась с койки и приблизилась к женщине. Между веками у той обозначились щелки, и легкое мычание вырвалось изо рта, заткнутого трубками. Мейрав застыла на месте. Женщина продолжала мычать, и Мейрав перевела взгляд назад, на Циону.

— Она что-то хочет? Что она говорит?

— Она хочет, чтобы я сделала ей маникюр, — сказала Циона. — Она хочет быть красивой. Придвинь мою коляску и положи косметичку мне на колени.

У нее не было ног, она сидела, выпрямившись, на инвалидной коляске и руками крутила колеса. Подъехала к женщине с трубками, погладила ее ладони и вздохнула:

— Трудно делать ей маникюр, все рассыпается, ты знаешь...

Женщина прохрипела что-то из-под трубок, и Циона принялась очень-очень осторожными движениями делать ей маникюр. Женщина закрыла глаза, и рот ее приобрел форму, напоминающую улыбку. Мейрав подумала, что, возможно, она уже умерла, но, когда Циона закончила, она снова что-то прохрипела.

— Что она говорит?

— Она говорит «спасибо, спасибо, ты ангел», — объяснила Циона.

И тут пришел доктор Шибя, чтобы отвести Мейрав в клуб.

— Ой, ты и рисовать умеешь? Какой рисунок! Какой рисунок! Я думал, что девочки в твоём возрасте рисуют только сказочных фей и балерин. Иди, иди, теперь очень приятно снаружи. Я приготовил тебе ключ от клуба.

На улице был вечер, но еще не стемнело. Небо было почти совсем белое, и деревья выглядели на его фоне как загадочные силуэты, прочерченные черной тушью. От высокого круглого бассейна доносились звуки kloкочущего потока. Невидимая птица приказывала, а может, спрашивала: «Тихо! Тихо?» Душистые дуновения приносили запах цветущего жасмина и жимолости, обведали и поглаживали.

Клуб выглядел снаружи как еще одно больничное отделение, но внутри вместо коек стояли низенькие

столики и глубокие мягкие кресла. Весь пол был застелен огромным ковром с прекрасными голубыми, зелеными и серыми узорами. В глубине поблескивал рояль светло коричневого дерева. Из другого угла поднимался запах кофе, печенья и шоколада, возле одной из стен обнаружили патефон и полка с пластинками. Свет исходил от одноногого деревянного торшера с зеленым прозрачным абажуром, на стекле которого были выгравированы выющиеся растения.

— Хочешь поиграть? — спросил доктор Шибя.

— Можно поставить пластинку?

— Что тебе поставить?

— У вас есть «Шахерезада»?

Он рассмеялся.

— Это не слишком длинно? Я думал предложить тебе что-нибудь из Моцарта. Хорошо, пусть будет «Шахерезада». Ну, я пошел. Не забудь запереть дверь на ключ, и не оставайся тут позднее чем до половины девятого. Включи себе свет, когда стемнеет. В девять в нашем корпусе выключают электричество и клуб открывается для врачей, которые хотят посидеть тут и отдохнуть. Так что договорились. Ты помнишь дорогу? За клубом расположен корпус урологии, затем детское отделение, потом неврология, потом кожные заболевания, потом ортопедический корпус и за ним наш — тридцать седьмой. Сумеешь вернуться, да?

Мейрав сидела в одном из кресел, на некотором расстоянии от торшера с красивым абажуром, и слушала «Шахерезаду» Римского-Корсакова. Она позволила шелковым руладам, звукам трубы, подобным хлопанию парусов, тайнам и тоске, что за пределами этого мира, обрушиться на нее и раздробиться в ней, вращаться в ней, ворваться в нее и раствориться вместе с ней в пространстве. Запахи кофе, печенья и шоколада пьянили ее.

Когда уходя она заперла за собой дверь, снаружи стояла тьма. Дорога была несложной: просто идти прямо по тротуару, и все. Воздух был теплым, каким он всегда бывает летом, запахи сделались более тяжелыми и густыми, плотными и сладкими. По противоположному тротуару шагал, опираясь на костыль, парень в пижаме с загипсованной ногой. Он остановился. Пожелал узнать, из какого она отделения, как ее зовут и сколько ей лет. Его зовут Эзра, он из ортопедии. Ногу сломал во время учений. У него есть сестра ее возраста, ужасно симпатичная. Если ей не мешает это, он проводит ее до отделения. От него пахло сигаретами. Она сказала, что сама знает дорогу, есть номера на корпусах.

В тридцать седьмом уже было темно, но свет в маленькой комнате горел, и дверь в нее была открыта. Мейрав увидела медбрата в халате, который завез каталку с лежащей на ней женщиной с трубками в комнату. Две медсестры придерживали больную, потому что все ее тело тряслось и подпрыгивало, как рыба, которую вытаскивают из воды. Рядом с ними шагала женщина постарше в белом халате, и на шее у нее болтался этот металлический круг, который врачи представляют к спине пациента и велят дышать. Белый халат сказал: «Держите, держите покрепче». Никто из них не обратил внимания на Мейрав, поэтому она продолжала смотреть. В маленькой комнате женщину полностью раздели. На всем теле у нее были трубки. Всё — живот, ноги, руки — было покрыто черными и серыми пятнами, и она не переставала дергаться на своей каталке, медсестры по-настоящему боролись с ней, в ней было столько силы, и она отчаянно сражалась за что-то. Парень, который прикатил ее, тоже помогал держать и сказал сестрам:

— Смотрите, что это — как она цепляется за жизнь.

Женщина с инструментом на шее сказала:

— Она уже не знает, что она делает.

Мейрав пошла к своей кровати и аккуратно расстелила сложенные простыни, чтобы накрыться. Циона храпела. Тьма была полна постанываний и комариков света всех оттенков, которые проникали в голову и визгливо звенели. Черный потолок приближался и как будто открывал в себе белый квадрат. Прошло бесконечное время, и была ночь. Мейрав встала с постели и снова направилась к входной двери. Маленькая комната была открыта, освещена и пуста.

Снаружи, в темноте, стоял, опершись на костыль, Эзра и курил сигарету.

— Я надеялся, что, может быть, ты выйдешь, даже если свет давно выключили, — сказал он. В его голосе ощущалось какое-то дрожание.

— У меня есть ключ от клуба врачей, — сказала Мейрав. — Там есть музыка. И можно выпить кофе.

Она перекинула свои длинные блестящие косы со спины на грудь и испугалась, поняв, как ей хочется понравиться ему.

— Ты можешь идти помедленнее? — попросил он.

— Можешь немножко опереться на меня, — ответила она.

— В самом деле? Ты смешная!

— Почему ты думаешь, что я смешная? Попробуй.

Когда он попробовал, она отчетливо ощутила, что он дрожит всем телом. Можно было видеть, как даже живот у него дрожит.

В клубе не было никого, и ей удалось разглядеть, что у него красивые зеленые глаза и смуглая гладкая кожа.

— Я умею играть на рояле, хочешь?

— Почему бы и нет? Поиграй. Я тем временем приготовлю нам что-нибудь.

Ей было очень важно исполнить сонату Моцарта не хуже, чем на школьном выпускном концерте в

конце года. И как на концерте она расплела косы и раскинула свои золотисто-рыжие волосы по плечам — они гладили и защищали ее.

Эзра не выглядел так, как будто он в самом деле слушает. Прежде чем она окончила вторую часть, он приблизился к ней, обнял и всем своим телом обвил ее поверх распущенных волос.

— Ты знаешь, что ты очень красивая? — прошептал он. Живот его в самом деле дрожал. — Можно увидеть тебя завтра? — спросил перед входной дверью тридцать седьмого корпуса.

Мейрав оставалась в тридцать седьмом корпусе два месяца под личным наблюдением доктора Шибы. По вечерам встречалась с Эзрой в клубе врачей, немножко играла для него, а потом в темноте на газоне, между корпусами, под гущей деревьев... Там она гладила его дрожащий живот, а он гладил ее волосы.

Доктор Шива взвешивал, не прописать ли ей всякие новейшие лекарства и не назначить ли инъекции кортизона и всего такого, но не спешил, поскольку отчетливо обозначился процесс выздоровления.

В МИНИМАРКЕТЕ «БАРУХ»

— Скажи, ты полагаешь, что я должен учить тебя, как воровать у меня?

Этот ответ заведующего банком по телефону снова и снова возникал в ушах и вызывал во всем теле у Баруха мельчайшие волны, как электрический ток или первый скачок высокой температуры. Он пытался сосредоточиться на работе, но голос тотчас возвращался и подбрасывал его, а еще он слышал самого себя, заливающегося тоненьким мерзким смешком, тем самым смешком заведующего банком, который показал наконец свою истинную жирную физиономию — этот негодяй. У Баруха выступили слезы на глазах. Это следовало прекратить любым способом. Прекратить и успокоиться. Вот и попробуй проворачивать дела, которыми эта страна должна была бы гордиться! Попробуй открыть филиал минимаркета — не какого-нибудь бутика, глупенькой бонбоньерки ради хвастовства — а минимаркета с органическими овощами, и компакт-дисками, и ювелирными украшениями, и всем таким, что может спасти престиж этого долбаного городишки, что позволит людям хоть капельку ощутить вкус райского сада, что придаст им немного веры, веры в пользу инвестиций, по крайней мере! Ты пытаешься поднять качество обслуживания покупателей — не довольствоваться оформлением витрин, а организовать погрузку товаров прямо в багажник авто, пытаешься

увеличить кредит, и тут этот сукин сын говорит тебе: «Скажи, ты думаешь, что я должен учить тебя, как воровать у меня?» — и насмехается над тобой, как будто ты маленький описавшийся мальчик.

Злость немного облегчила его состояние. Теперь жар ударил в голову и захлестнул глаза. Он ждал, пока это отступит и он сможет вернуться в обычную рабочую форму. Он слышал, как два телефона звонят и смолкают, слышал голос кассирши, пытающейся выяснить цену компьютерного приспособления для охлаждения помещений путем капельного увлажнения, слышал ответственного за безопасность, срочно вызывающего его к себе, и не мог сдвинуться с места. Что с ним случилось? Так он чувствовал однажды, в старших классах, когда один из членов школьного ансамбля, тот, который электрическая гитара, делил со своими двоюродными братьями — тем, который саксофон, и тем, который бас-гитара, — все деньги, которые хозяин кафе согласился наконец заплатить, хотя это именно он, Барух, все организовал и сочинил музыку, и играл на разбитом рояле, стоявшем в кафе. Теперь, как и тогда, он будто выпал из времени на сто или двести лет. Сидел, ничего не делал, смотрел на все, будто это ДиВиДи Мэджик.

С помощью трех экранов системы видеонаблюдения Барух мог следить у себя в конторе за происходящим в любом уголке минимаркета. Не все было так уж скучно и обыденно. На одном из экранов он увидел покупательницу, женщину определенно приятную, не более тридцати, которая ради сравнения цен и весов вытащила из розового бархатного очечника очки в оправе розового цвета и возвратила их в очечник. Прошествовала на высоких каблучках к кассе — задница что надо, небольшая и кругленькая, покачиваются жемчужные сережки, и младенец, примерно годовалый, восседает на металлической перекладине до верху заполненной

товарами тележки. Заплатила, опустила кошелек в нейлоновый пакет, пошарила в кармане в поиске ключей от машины и со спрятанными глубоко-глубоко под азиатскими веками глазами зашагала с кожаной дамской сумкой через плечо и четырьмя полиэтиленовыми пакетами, лопающимися от покупок, в руках, к автоматической стеклянной двери. Малыш, оставшийся в тележке, поднял ручонки, чтобы кто-нибудь вытащил его, но следующая покупательница отодвинула тележку в сторону и начала выставлять на конвейерную ленту собственные покупки. Барух отключил фоновую музыку и включил громкоговоритель: «Госпожа, вы забыли вашего младенца!» Голос его разнесся эхом по мини-маркету, и все женщины принялись оглядываться по сторонам в поисках брошенного младенца. Мамаша, которая была уже возле автоматической двери, подалась назад и обернулась, поскользнувшись левым каблучком, уронила голову на сторону жестом отчаяния от своей рассеянности, и Барух подумал, что только со спины она выглядит привлекательной. Виновница происшествия высказала кассирше что-то вроде «Какой шум подняли, можно подумать, что я что-то украла!», и кассирша посетовала, сказала что-то вроде «Смотрите, это наш хозяин, нечего делать, позволяет себе вмешиваться в то, что его не касается, лишь бы себя показать. Привык так в армии, будто каждая его личная секретарша: соедини меня с этим, соедини меня с тем!».

Барух продолжал пялиться в три экрана видеокамер и чувствовал, что давление подскочило и кровь бросается ему в голову, как случается всегда, когда человеческий идиотизм представляется вконец непостижимым, доводит его до удара, душит до тошноты. Вот, теперь они заходят, осматриваются, уверены, что все тут принадлежит им и остается только протянуть руку и положить в сумку. И если у них нет достаточно денег, чтобы купить все, что имеется в минимаркете, это

означает, что хозяин надул их. А ведь он вкладывает в этот минимаркет свою душу — и не для показухи, не для того, чтобы произвести впечатление, а потому что он таков, ему важно все, что он делает, ему важно, что после того, как он выполняет свою ежедневную задачу, он не просто вносит столько-то денег в кассу — это для него не главное, главное для него то, что он может сказать себе в конце дня, что проделал хорошо работу. И не имеет значения, это в овощах, или фруктах, или в молочном отделе, или в электронике, потому что то, что ты делаешь, это ты — ты смотришь на то, что ты сделал, и ты видишь себя.

Эти мысли и спасенный младенец умиротворили Баруха, и он уже вознамерился поднять трубку не прекращающего трезвонить телефона, но в это мгновение узрел в видеокамере, направленной на вход, Йону — да, в видеокамере, а не во сне. Йона! — закричал, как кричат во сне: изнутри, беззвучно. Он много раз за последние годы мечтал увидеть ее. Семь лет она не желала знать его и даже поговорить с ним по телефону не соглашалась, но вчера и позавчера появилась на экране видеокамеры минимаркета. Йона, которую он растил, как будто никогда не было у нее матери, которая ела только с его ложечки, которая не умела ходить до трех лет, потому что он всегда был готов посадить ее себе на плечи, которая согласна была смеяться, только если он подкидывал ее в воздух, и только ему позволяла купать себя и укладывать в кроватку, слушая книжку. Йона, которая в двенадцать лет, в возрасте бат-мицвы, все еще сидела у него на коленях и просила «поиграть в нее». «Поиграй в меня», — говорила, и он пальцем выводил у нее на спине слова, а она угадывала их нежным и неуверенным голоском, но всегда правильно, и улыбалась таинственной улыбкой, тихой и мудрой. Йона, при одном взгляде на которую сердце его разрывалось от любви.

Во сне она сидела у него на коленях в конторе минимаркета, и они вместе смотрели на экраны видеокамер, где голая женщина, белая, с длинными и жидкими светлыми волосами, катит тележку и накладывает в нее ананасы, и манго, и вишню, и фи-сташки, и пирекс — изделия компании SchottDuran из боросиликатного стекла, — и французские сосиски, и косметику, и электронику, и диски, и мало ли что еще. И когда она подходит к кассе и получает счет, то начинает озираться по сторонам, словно ищет помощи, потом рвет счет и выбрасывает все товары из тележки и кричит: «Почему это так дорого?» И пирекс бьется, вишня и манго оказываются раздавленными, а Йона прыгает у него на коленях и громко смеется тем смехом, который он так любит, и он смеется с ней вместе, хотя все это не так уж и смешно.

Позавчера она пришла в первый раз после семи лет. Он увидел ее на экране и хотел закричать, хотел сбегать вниз, но удержался. В конце концов, семь лет он был для нее словно покойник, ни слова она не хотела сказать ему. И почему? Почему? Правильно, сегодня не спрашивают почему. Дети делают все, что приходит им в голову, дети, девочки, хорошо, она всячески нахальничала, грубила, а он притворялся, будто не слышит. Не желала одеваться поскромней, не помогала по дому, не делала уроки, некрасиво вела себя по отношению к подругам — он молчал. Она притащила в дом оглушительную музыку и ставила диски, когда спят. И в ответ на все это он молчал. Но однажды, ей было четырнадцать, она вернулась из школы без кос. С самого рождения они не прикасались к ее волосам, позволили им вырасти до колен. Натирали ей голову то оливковым маслом, то миндальным, то пивом, то раствором витаминов иностранного производства. Когда она расплетала косы и взмахивала головой, то казалась укутанной в блестящую черную мантию. Только видеть

это было уже, как будто свет разливается в сердце. И вот однажды она вернулась из школы с обритой наголо головой. Вернулась поздно, когда они уже отужинали. Он смотрел телевизор. Лежал на зеленой тахте, свесив ноги в ботинках на сторону, чтобы не испачкать обивку. И вот она входит, голова ее словно у манекена в витрине, будто вылеплена из пластика, в точности череп покойника, восставшего из могилы. Лыбится этой своей ухмылочкой, прежде такой хитренькой и таинственной, а теперь гипсовой ухмылкой черепа, вынутого из гроба — рот растянут, а глаза мертвы, — и говорит: «Как я? Правда, я большая?» И все, весь сказ. Он бил изо всех сил, на лице у нее была кровь, и она схватила кухонный нож и закричала: «Попробуй только приблизиться ко мне!» Он не разговаривал с ней неделю, она ушла из дому, и с тех пор он как будто умер для нее. Он разыскал ее адрес и телефон, писал ей, но она не отвечала, звонил, но она бросала трубку, едва слышав его голос, посылал ей подарки, но она возвращала их или вообще не приходила на почту забрать. Каждый день он шел в минимаркет, смотрел на экраны видеокамер и надеялся увидеть ее там. Неделю назад она показалась, будто с неба упала. Изображение было не очень ясным, и он не был до конца уверен, что это она. Когда поверил, оцепенел от жгучего желания спуститься вниз и обнять ее, но продолжал смотреть, жадно глотал глазами каждое ее движение. Голова ее была обрита. Она была одета в черное кожаное пальто. Она не взяла никакой тележки, прошагала, как будто проплыла, в отдел косметики, там выбрала несколько кремов из самых дорогих и положила в карман своего кожаного пальто, потом перешла в отдел ювелирных изделий, тот, которым он больше всего гордится, взяла несколько цепочек и часов и положила во второй карман, и той же плавающей походкой направилась к кассе, а он сидел против экрана, как будто ему на голо-

ву обрушился балкон, и смотрел, как кассирша задерживает ее и зовет охранника, и как охранник отводит ее в маленькую комнату, и как она выходит оттуда с пустыми карманами кожаного пальто и таинственной улыбкой на сделавшихся тонкими губах, накрашенных темной помадой, не глядя ни на кого. Он позвонил ей вечером и сказал: «Йона, если у тебя нет денег, скажи, для этого я твой отец». Она не бросила трубку, но и не ответила. Он прислушивался к тишине, к шорохам в трубке и сказал: «Йона, почему ты молчишь?» И тогда она положила трубку. Назавтра она появилась снова, в том же кожаном пальто и с парнем, утыканным серьгами в ушах и в носу. Оба уселись на полу в отделе органических овощей, выгасили папиросную бумагу, принялись скручивать «козьи ножки» и курить, а спички не загашенными швыряли на ковер. Охранник привел обоих в контору к Баруху, и тот сказал: «Все в порядке, я знаю их, выведи их потихоньку наружу». Вечером он снова звонил ей и кричал: «Йона, что ты мне делаешь, Йона? Ты хочешь убить меня, Йона?» Снова была долгая тишина, и под конец он услышал ее голос. Она сказала: «This is a good idea». Так она пробормотала тем говорком, какой бывает у людей, которые смотрят слишком много фильмов.

Теперь он видит ее снова. Она не с парнем и не в кожаном пальто, а только в платье, и он видит, что она беременна. Беременна. Беременна — вбивал он себе в голову, будто стальные гвозди. Живот ее выглядит так, словно там внутри большой плод манго. Она прохаживается между стеллажей отдела детской одежды как по берегу моря, покачиваясь, словно лодка на волнах. Барух вышел из конторы, спустился по ступеням и подошел к ней со спины, когда она разглядывала пинетки для младенцев — малюсенькие, будто игрушечные, кукольные башмачки.

— Йона, только скажи мне, что тебе нужно.

Она смотрела на него и, казалось, никогда не ответит.

— Мне нужно уехать отсюда, — произнесла наконец голосом, уже не таким нежным, слегка хриплым, как видно, от чрезмерного курения. И добавила: — Я скоро уезжаю.

Баруху пришлось очень постараться, чтобы заставить себя говорить естественно:

— А куда ты едешь, Йона?

Снова было долгое молчание, лицо ее оставалось неподвижным, словно выточенным из перламутра.

— На Карибские острова, я думаю. Мы еще не вполне решили.

Барух был уже не в состоянии сдерживаться:

— На Карибские острова?! Почему именно туда? — Затем, сиюсь смягчить вырвавшиеся слова, продолжил: — Почему не в Таиланд или в Бразилию, как все?

Действительно ли его уши услышали, как она сказала: «Потому что там нет минимаркета “Барух”», или это только показалось ему?

Он еще раз пережил странное мгновение, в которое вообще выпадаешь из действительности лет на сто, а может, и на двести, сидишь, смотришь на экран, ждешь чего-то получше, надеешься, что ощущение небытия пройдет и опять удастся выполнять свою работу, которая вернет ему хорошее настроение.

МУЗЫКА

Вот он, сволочь, пишет «голубка моя», «нормальное существование семьи», и, разумеется, «вызов», и про Шломо он ничего не знает — разумеется, как и тут никто не знает, кроме Надички, понятное дело. Внуков, негодяй, даже не упоминает, а про дочь только спрашивает, похудела ли Надичка в Израиле и действительно ли бросила курить. Там все почему-то думают, что репатрироваться в Израиль означает бросить курить. А с другой стороны, пишет, прохвост, — он ведь знает меня: «Возможность обеспечивать себя преподаванием музыки». Верины глаза задерживаются на последнем слове, как будто в нем содержится какая-то нежная привязанность, которую кто-то любящий изобрел специально для нее.

Звуки Надичкиного электронного аккордеона мешают ей обдумать все логично, настолько они ужасны, эти звуки, настолько раздражают, и хуже всего — глупы, действительно глупы. Кто бы поверил, что такая развитая девочка — с ее способностями она могла бы добиться там мирового признания — будет держать в руках этот инструмент, который вообще с большой натяжкой можно назвать музыкальным. И с широкой блаженной улыбкой на устах наигрывать песенки на днях рождения детишек, которые еще писаются в пеленки. Когда она прекратит это свое занятие, поговорим о письме — спокойно, без раздражения и склоки. Главное, без раздражения. В конце концов, он ее отец.

Аkkордеон наконец умолк, Вера включила программу «Звуки музыки» и облегченно вздохнула. Теперь можно поразмыслить об этом деле спокойно. Концерт... Ну да, это именно тот концерт, который мы слушали с Шломо. «Надя, может, это Мендельсон?» Надичка терпеливо объясняет хриплым от непрерывного курения голосом, что это Моцарт, Квintет для кларнета, K581. И возмущается про себя: сколько раз нужно прослушать произведение, чтобы узнавать его, и как вообще можно спутать Моцарта с Мендельсоном? Вера несколько не смущена, она готова признать и объявить во всеуслышание, что музыкальной памяти у нее нет и никогда не было. Она произносит это с тем упрямым легкомыслием, с каким преступник отказывается раскаяться в содеянном. «Зато лица я помню отлично, куда лучше, чем большинство людей, помню даже тех, с кем была знакома сорок или пятьдесят лет назад — будто видела вчера». Перед глазами возникают старческие коричневые пятна на скулах пожилого скрипача, игравшего в Киеве, в парке на берегу реки, над которой подымалось облако и плыло по небу с широко раскинутыми руками, как будто на ногах у него коньки. Наверное, мне было года три, когда мама первый раз взяла меня на концерт. Вот это была музыка!

И чтобы поговорить с Надичкой без ссор и раздражения, Вера принимается накрывать на стол на троих. Шломо всегда приходит в субботу к обеду и даже соглашается отведать рыбы. «Суббота без рыбы — все равно что лицо без улыбки», — произносит он с акцентом, который пытается выдать за французский, но который все равно остается литовско-идишским акцентом американских евреев. Вежливый мужчина. Воспитание получил не в Швейцарии, но человек репатрируется в Израиль, чтобы жить на свою американскую пенсию и работать добровольцем в институте «Яд Вашем». Че-

ловек с принципами. Надичка говорит, что с такими принципами уже пришло время жениться на Вере. И пришло время сказать ему об этом. «Ну, может, так ведут себя в Израиле. Никто за нами не гонится, пускай сам решит. А когда он попросит моей руки, мы еще подумаем, посоветуемся с семьей. Кто это — семья? Ну, в самом деле, кто? Я не понимаю, почему ты всегда сердишься, Надичка. Я не делаю ничего без того, чтобы посоветоваться с тобой. Так что ты говоришь теперь? Что ответить твоему отцу? Ты понимаешь: он как будто хочет, чтобы мы снова были вместе, и просит выслать ему приглашение от семьи. Кто бы мог поверить, что нас ожидает такая беда?»

Вера смотрит в глаза дочери, которая сама уже мать, и пытается улыбнуться, чтобы той было не слишком тяжело. Эта прическа, которую он делает ей, ее муж, совершенно не оставляет волос. Может, это и красиво, но все-таки пугает.

Надичка заставляет себя взглянуть на мать и признает, что та одета со вкусом и талия по-прежнему тонкая, как у девушки. Пряди жиденьких блондинистых волос торчат между ерошашими их длинными потемневшими пальцами. Губы полные, пухлые, как у африканской статуэтки, и только с левой стороны пролегла тонкая отвесная морщинка, но старость отчетливо просматривается в глазах, и эта привычка, задумавшись прищуривать один глаз, не прибавляет ей красоты. «Она все время втягивала меня в свою жизнь. Хватит, покончили с этим, у меня другая жизнь, и точка. Что было, то было».

Вера думает: снова Александр, кто бы поверил, что на нас обрушится это несчастье? Двадцать лет минуло с тех пор, как оставил меня, господин виртуоз, с младенцем на руках и кучей тетрадей на столе. Сидела ночами над тетрадями, а он возвращался под утро со своих концертов, запах алкоголя и блевотины шел

от него. Наваливался, как на корову, силой брал. Тяжело дышал, рыдал. Невозможно не пожалеть. Утром нужно изо всех сил вертеть головой, чтобы прийти в себя, пускай даже эта голова раскалывается от боли. Урок это, разумеется, не концерт, нечего сравнивать, но ведь и учительница должна быть милой и приветливой, смешливой, даже удивительной и непредсказуемой, а это так тяжело после таких ночей, оставляющих ощущение унижения и грязи, лишаящих тебя твоей личности и сущности и вообще всякого желания жить. До чего же мучительно в таком состоянии разбирать стихотворение Пушкина и смотреть в широко распахнутые глаза учеников, притихших и обращенных в себя, как будто погружившихся на мгновение в сон... И возвращаться из школы в свою коммуналку, в ту же самую спальню и гостиную с роялем — кресло и обеденный стол придвинуты друг к другу, и дверь как всегда издает жалобный скрип. Он — важный господин — сидит в кресле возле приемника, отдыхал весь день, перед ним куча окурков, в руках модный журнал. «Привет, учителька», — произносит, подражая тоненькому голоску учеников, обожающих подразнить тебя, чтобы рассмешить приятелей. И, возвращаясь к своему обычному тону, вопрошает: «Почему ты ходишь на работу одетая как деревенская баба? Сшей себе... Например, такую вот пелерину или купи такую шляпу». То, что он показывает ей в журнале, поражает. Поражает, как такие вещи могут нравиться. Но если это то, что ему нравится, зачем спорить? Она сметает с пола окурки и говорит: «Саша, я ведь подарила тебе на день рождения пепельницу». Он неодобрительно хмыкает: «Пусть работают те, кто лишен таланта». Что тут можно возразить? Она знает, что у нее жидкие волосы и со своими круглыми очками она выглядит в зеркале как испуганный цыпленок. Если бы она была красавицей, он разговаривал бы по-иному. Он обучает

дочку непристойным словам, чтобы придать домашней атмосфере немного блеска и живости. В качестве маэстро он нуждается в блеске и радости.

И была оперная певица — контральто, — кстати, тоже еврейка, но постоянно хихикала. Брюнетка с вьющимися волосами в каракулевой шубе. Завитушки на голове и завитушки на каракуле. И можно прикасаться к ней, в особенности когда она репетирует Шуберта, он слушает и переполняется желанием пощупать ее, касаться всех ее прелестей. Он сопровождает ее на рояле, и звуки становятся нежными и прозрачными, как шали восточных танцовщиц. Когда он репетирует один, это не получается так. Ездил за ней из города в город, а домой присылал время от времени мыло с кисловатым запахом. И Вера каждое воскресенье протирала рояль лаком для мебели, полировала и плакала.

«Друг мой, музыка зовет меня, она сильнее меня», — писал ей на новогодней открытке. Она разорвала открытку в клочья, и они показались ей недостаточно мелкими, тогда она стала драть их зубами и швырнула в печку. Только ненависть давала ей силы растить дочку. Счастье еще, что получилась такой... В официальных анкетах подстерегал пункт «семейное положение», перо дрожит в пальцах, выписывает круги, прежде чем заполнить строку, — как руки пловца, прыгающего с вышки.

Было одно утешение в жизни: музыкальный талант дочери. В шесть лет, через год после начала обучения, Надичка уже играла сонатину Скарлатти на детском празднике. Перед каждым уроком Вера натирала паркетный пол вокруг рояля и уходила в спальню, чтобы не мешать. Девочка — вся собранность, вся усилие — старается добиться точного, самого красивого звучания. Учительница советовала наблюдать за занятиями дочери, и жизнь с этих пор приобрела ясные, четкие очертания. По дороге с работы в ушах уже звучали

энергичные упражнения для пальцев из тетради Черни, которые предстоит разучивать сегодня. Каждый день старалась немного продлить занятия — минут на десять. Сегодня мы должны добиться двух часов с четвертью, а школьные тетрадки могут и подождать. Грязные тарелки в раковине тоже подождут. Талант требует поддержки и внимания. Артист нуждается в том, чтобы его слушали. «Если у вас есть ребенок с музыкальным талантом, приобретите себе наручники», — наставляет учительница музыки с таинственной улыбкой.

Она опускает веки — звуки успокаивают, вытягивают головную боль. Симметричные музыкальные фразы с вежливым изяществом кланяются ей и приглашают — с таким почтением, с такой деликатностью — сесть в карету, запряженную вороными лошадьми. Она закрывает глаза и поднимается в карету. «Ты ангел, ты мой ангел», — говорит она дочке после каждого упражнения и целует ее в голову.

— Мама, может, ты тоже будешь брать уроки музыки? — спрашивает вдруг Надя, но она отвечает:

— Ангел мой, ты такая хорошая, такая умная. Но ты ведь знаешь, у меня нет музыкальной памяти. Однажды я начинала, занималась целый год — ничего не получилось, ничего не смогла выучить наизусть.

На совещании педагогического совета, посреди обсуждения внезапного снижения оценок по всем предметам у Владимирова из пятого «б», ее настигает неодолимый порыв вскочить и бежать домой, чтобы проверить, занимается ли Надичка положенное время музыкой, когда остается одна. Вообще, старалась смыться с этих совещаний, проводимых после уроков, любым способом отбояриться от участия в школьных экскурсиях и праздничных мероприятиях. Начала интересоваться профессиями родителей своих учеников: Незвановой можно немножко зависить оценку, отец

ее работает осветителем в филармонии и может достать билеты на любой концерт.

Мужчины при встрече с ней говорили:

— Слишком заботиться о фигуре — это нездорово, Вера, ты скверно выглядишь.

И к тому же Надичка сделалась болезненной и ужасно упрямой девочкой. В самые морозы, когда температура упала до тридцати двух ниже нуля, вздумала вдруг категорически отказываться надевать шапку и варежки. Пускай мерзнут руки. Кошмар и ужас, что она способна выделывать. Садится на новый крутящийся стул для игры на пианино, чтобы приступить к упражнениям, и вместо того чтобы сразу начать с гамм, принимается вертеться на стуле, пока не закружится голова.

— Мамочка, ты думаешь, фиолетовый — это подходит к коричневому?

— Фиолетовый к коричневому? Почему бы нет? Поговорим об этом после.

— Да, но, мама, Эльвира пришла вчера в музей в коричневой юбке и фиолетовой кофте, и Оксана сказала, что это совершенно не подходит.

— Надичка, ты должна играть, моя дорогая.

— Да, мама, но знаешь, как Оксана обозвала меня? Сказала, что я космополитка.

Это в самом деле никуда не годится. Совершенно не годится. Мы поговорим об этом, когда ты закончишь играть.

Хорошо, мама. Мамочка, пощупай мне лоб.

Первая же мысль, которая вспыхивает в голове: завтра дочурка не пойдет в школу, все утро будет свободно для упражнений. Целых четыре часа! И тотчас: уж не сошла ли я с ума? Я буду рада, если девочка заболит? Да, да, болезнь пройдет...

Надичка заболела и выздоровела, и снова заболела. Вера то и дело бюллетенила, и директор школы при-

гласил ее к себе в кабинет для беседы. Объявил, что, в конце концов, он все понимает, он симпатизирует ей, но... И, поднявшись, чтобы попрощаться, сунул пальцы в разрез блузки и попытался лизнуть ее левое ухо.

Она поила Надичку рыбьим жиром и хотя бы раз в неделю кормила гусиной печенкой. После каждого концерта покупала ей шоколад и цветы. Нужно хорошенько подумать, как напоминать ей, что она должна упражняться по меньшей мере четыре часа в день — так, чтобы она не сердилась. Выбирать слова. Без радости она не может играть, а мама умеет только испортить радость.

Это началось как очередная ангина — высокая температура, головная боль: мама, у меня болит голова, у меня кружится голова. Но ночью раздались ужасные вопли, и, когда Вера зажгла свет, Надичка стояла на постели с вытаращенными глазами, зубы стиснуты, слюна течет изо рта, и она кричит:

— Нет! Нет!

Как будто кто-то хочет убить ее. Вера прежде всего попыталась обнять ее, тело девочки дугой выгнулось назад, изо рта потекло. Долго целовала ее, та забилась в судорогах, которые наконец немного стихли, но начались снова, пробегали как волны. Господь милосердный, Господь милосердный! Каждую ночь клала ей на лоб полотенце со льдом. Десять уколов пенициллина сделали ей, и только после шестого упала температура. Врачиха объявила, что необходим полный покой, и было решено, что Надичка поедет к бабушке в Одессу, отдохнуть и покупаться в Черном море. О занятиях и о концертах не приходилось и вспоминать. Вернувшись из Одессы, Надичка рассказывала, что бабушка и дедушка хлебают щи из одной миски, бабушка в субботу вечером зажигает свечи и как фокусник водит руками вокруг пламени, и руки становятся прозрачными, как

будто из розового стекла. Перед едой и после еды проносят благодарения Богу, потому что это Он дает нам пищу. Надичка хочет теперь быть еврейкой. Ну, конечно, еврейкой, а то как же? Великие исполнители были евреями: Яша Хейфец, Ойстрах, Менухин.

— Да, но евреи не играют по субботам.

— Как это — не играют по субботам?

— Нет, нельзя.

— Ничего подобного, Надичка. Играть — это в точности как молиться. В субботу играют и молятся. Это одно и то же.

— Мама, ты говоришь, как дурочка.

— Так ты разговариваешь с мамой, Надичка? Это то, что я заслужила?

— Да, мама, как дурочка. Папа правильно сделал, что бросил тебя. Я вообще больше никогда не буду играть.

Было пустое мгновение, совершеннейший провал, потом разговоры, слезы, крики. Надичка не позволяла прикоснуться к себе, ни обнять, ни поцеловать.

— Отстань от меня, не трогай меня!

Вера драла свои жидкие волосы и била себя по щекам, чтобы заглушить ту боль, что внутри. Шлепки звучали как выстрелы, но эта боль не облегчала страшной тяжести, давившей изнутри и неспособной вырваться наружу.

В первые годы Вера еще надеялась, что Надя изменит свое решение. Возвращаясь с работы, как будто слышала вдали звуки рояля, упрятанные в воздухе. Только когда заходила в дом, воздух высвобождался от них.

Надя лежит в гостиной поперек тахты и читает книгу «Как заполучить деньги и друзей?». Такая американская книга. Удивительно, до чего же длинное у нее тело. Ступни шире и больше, чем можно было бы ожидать, в белых грязных носках, из которых торчит

немного скрюченный большой палец. Кто она — эта девочка? Чьи это ступни?

Вере предложили дополнительную работу в послеобеденные часы в библиотеке. С Надичкой встречались за ужином. Потом проверка ученических тетрадей, а Надичка отправляется на свидание с Марком, хромым парнем, который учится в Технологическом институте и интересуется сионизмом. Отрастил бороду и был уволен с работы.

В туалете подошла к ней учительница физики Луиза Чеслова, которая замужем за чехом, и, оглянувшись по сторонам, сказала:

— Почему вы остаетесь здесь? Уезжайте в Израиль. Зачем жить вдали от родины?

— Родины?.. Но мы тут родились. В России пережили войну. Тут я училась в школе, в институте. Моя специальность — русская литература. Мне необходимо слушать русскую музыку, — бормочет она и сама не знает, что говорит.

В сущности, не было выбора. Надичка и Марк уже поженились и получили разрешение на выезд. «Как можно существовать, не ощущая национальной принадлежности? Гордости за свой народ?» — возмущается Марк. «Оставь ее в покое, — говорит Надичка, — ее интересует только музыка».

Ехали через Москву, написала Александру, который в то время проживал в Москве и зарабатывал игрой в ресторанах — после того, как его певица покончила с собой. «Здравствуй, Александр Вигдорович! Извини, что беспокою тебя. Восемнадцать лет не видела тебя и, возможно, вообще уже не узнаю человека, которому пишу. Одно мне известно: ты по-прежнему занимаешься музыкой, что означает, что в тебе еще тлеет Божественная искра. И если это так, возможно, захочешь прийти попрощаться с дочерью и ее мужем перед их отъездом в Израиль». И сообщила адрес.

Он появился вечером накануне отъезда в сопровождении огромного, как теленок, сенбернара. Его рука, пожавшая ее руку, оказалась невесомой и мягкой, оплывшей и щекотной той щекоткой, какая бывает от прикосновения шва после операции. На носу у него восседали очки с толстыми линзами, вылезавшими из оправы, и за ними виднелись огромные глаза, пронизывающие бездонную пустоту. Завитки волос прилипли к круглому, как металлический шар, черепу. Более всего удивила ее перемена в его размерах: живот вывешивается поверх брючного ремня, а когда сел, показалось, что швы на штанах вот-вот лопнут на широко расставленных ляжках. Даже уши растолстели и сделались ноздреватыми и волосатыми.

Обняв Надичку и Марка, спросил у Веры, не найдется ли у нее случайно денег купить сыру для пса. Пожаловался:

— Я из-за него сижу без копейки. Приучил его питаться сыром — это единственная еда, которую он признает, но это нездорово для него, он толстеет от этого. Что я могу поделать? Он мой единственный друг, настоящий друг.

— Могла ли ты поверить, что такое несчастье нас подкарауливает? — спрашивает Вера у Надички, которая сама уже мать, и ожидает, что та поможет ей принять решение. В конце концов, он ее отец.

— Мама, может, ты дашь прочитать письмо Шломо и он поможет тебе решить? — говорит дочь.

Вера смотрит на полную женщину в очках, с пухлыми губами и голым черепом, напоминающим металлический шар, женщину, которая когда-то была ее маленькой доченькой. У этой женщины есть сын, и ее совершенно не волнует тот факт, что он не играет на рояле. Кошмар, полнейший кошмар! У нее иные заботы. Марк хочет развестись с ней. Он не любит жен-

щин, которые без конца курят, и к тому же зарплата у музыкальных работниц в детских садах смехотворная. Марк пишет докторскую по древнесемитской филологии и посещает компьютерные курсы. Там он встретил какую-то блондинку и уже успел сделать ей короткую стрижку.

Шломо человек деликатный, благородный и прямодушный, но, когда они ходят на концерты, он старается избегать встреч с друзьями, чтобы не пришлось представлять им ее. Почему? Это всего лишь друзья, а не родители, чего он боится? Шломо читает письмо, тербит узел на галстук и старается высвободить из него шею. Под конец он говорит:

— Еврей хочет взойти на Святую землю.

— Как это просто и верно, — удивляется Вера его мудрости, но ощущает при этом мучительную тяжесть в груди. — Он пишет: «Зарабатывать преподаванием музыки», так, может, он станет учить и своего внука? Как можно растить ребенка без музыки? Кошмар!

— А что будет с сенбернаром? — спрашивает Надичка.

— Что будет? Будем покупать ему сыр. Сыра в Израиле хватает, — заявляет Вера, сама не понимая, о чем говорит. Лишь бы не молчать, лишь бы Шломо не почувствовал, что у нее на душе.

А Шломо предлагает:

— Может, мне лучше прекратить приходить сюда до его приезда. Чтобы решение осталось за тобой.

И Вера говорит:

— Я очень ценю это, Шломо, ты такой благородный и умный человек. Ты все понимаешь. Это моя последняя великая надежда: чтобы мой внук учился музыке. Напиши, Надичка, что мы вышлем ему вызов, но у нас тут нет рояля, так что пусть привезет с собой скрипку-восьмушку. Профессиональную скрип-

ку-восьмушку, для ребенка, но сделанную настоящим мастером и проверенную консерваторией.

Вера долгим взглядом смотрит на Шломо, она растеряна, всегда чувствовала, что ей чего-то не хватает в нем, но не знала чего. Он не настоящий интеллигент, нет. Он достаточно образован, умен, но что такое музыка, он не понимает. Не чувствует по-настоящему. А Александр — отец Надички и дед ее внука, которого он еще не видел, но он наш общий внук, и мальчик должен получить музыкальное образование. Напиши, Надичка, своему отцу: мы вышлем ему приглашение. Попробуем заново создать семью.

НЕНАВИЖУ БОСТОН

Я прибыла в Бостон на один день, дабы, что называется, помочь организовать рекламную кампанию, приуроченную к выходу в издательстве «Нобелевская премия» моего романа «Гражданка мира», наконец-то переведенного на английский. Главный редактор давно уже разъяснил мне, что не книга, при всем к ней уважении, но мое личное присутствие в Бостоне под предлогом цикла лекций и интервью на тему политического положения в Израиле — ключ к воротам шведской крепости, где Нобелевские премии постоянно раздают не тем авторам.

— Сегодня Бостон, а не Нью-Йорк, — это то, чем Париж был в девятнадцатом веке, — растолковывал он мне. — Здесь находятся люди, от которых зависит решение. Ты обязана выступить в «Сандерстеатре». Не волнуйся, все за мой счет. Переночуешь одну ночь в отеле «Парк Плаза», возле площади Копли, это в самом центре.

Мое полное имя большими английскими буквами, Ирина Берлинер, поджидало меня на выходе из аэропорта «Логан» на плакатике, вздымавшемся над головами публики в руках молодого, очевидно, лет двадцати с небольшим водителя такси, облаченного в серый костюм и сиреневый галстук, гладко выбритого и источавшего запах лосьона после бритья. Он отвез меня в «Парк Плазу». На какую-то минуту

перед глазами у меня возникли водители «Нешера» в аэропорту имени Бен-Гуриона, поджидающие меня по возвращении: волосатые, провонявшие потом и сигаретным дымом, с тяжелыми золотыми цепями на бычьих шеях, орущие хриплыми голосами друг на друга и на меня, хватко и яростно управляющие машиной, — однако виды Бостона тотчас вытеснили эту картину. Какое широкое и чистенькое шоссе, какие высокие здания и как они сверкают на солнце, и вот река — как я соскучилась по реке! На достаточно приличном английском я поинтересовалась у водителя названием улицы, и тут обнаружилось, что его зовут Нир, он бывший израильтянин, сабра, служивший в инженерных войсках и женившийся на американской девушке, недавно разведен, временно водитель такси, в данный момент живет на съемной квартире и проводит свои уик-энды с товарищами на собственной яхте, стоящей на якоре здесь, в бухте Чарлз-Ривер.

— Когда яхта отходит от берега на расстояние пяти километров, — сообщил он, — нет полиции и вообще ничего такого, и мы делаем все, что заблагорассудится. Уик-энд длинный, так что девушка делится между ребятами. Так же и в Песах, ты знаешь, тут есть второй Седер, тут ведь считается Рассеяние, — засмеялся он. — Я не знаю, как вы там в Израиле обходитесь с одним седером.

— Не так уж плохо, — сказала я, потому что с кем бы я ни говорила, я всегда умудряюсь увидеть оборотную сторону медали, и под конец обязательно выходит спор. — Ты знаешь, я родилась в России, богатой стране, в которой людям живется скверно. Израиль бедная страна, в которой людям живется хорошо.

— Хорошо! Кто живет в Израиле хорошо? — Голос его сделался плаксивым, и такси завияло на шоссе.

Мне пришлось признать, что когда я развелась и переехала жить в Иерусалим, то не могла позволить себе проводить уик-энды на яхтах.

Перед фасадом «Парк Плазы» ко мне поспешили охранники в униформе на манер французских гвардейцев и подхватили чемодан. По китайским коврам меня проводили через сверкающее хрустальными люстрами лобби к регистратуре. Какие элегантные цвета! Какой вкус! Гостинице «Царь Давид» есть еще много чему поучиться. Нежным благожелательным голосом, едва уловимым ухом, как и положено сотруднику ресепшн, тот выудил из меня требуемые данные, вручил мне электронную карточку от номера на четырнадцатом этаже и посоветовал взять лифт-экспресс. Я подумала: еще минута и по лобби пройдет заяц в белых перчатках — я чувствовала себя как Алиса в стране чудес.

Было утро. Я вспомнила, что рассказывал мне Миша Кубельман о своей поездке во Франкфурт. Они с женой трудились в Киеве на промышленном предприятии, но Миша еще писал прозу. Однажды жена сказала: возьми отпуск на год и пиши, я уж как-нибудь прокормлю и нас с тобой, и сына. Миша целый год сидел и писал рассказы. Именно в том году русское радио во Франкфурте объявило международный конкурс короткого рассказа. Рассказ-победитель получит премию в тысячу долларов и будет прочитан по радио, а его автор для вручения премии будет приглашен во Франкфурт. В ту пору в Киеве за тысячу долларов можно было купить квартиру. Миша послал на конкурс свой рассказ «Гитлер» — о горестной судьбе пса по кличке Гитлер в период оккупации Киева фашистами. Рассказ удостоился первой премии. Зимним вечером Миша прибыл в гостиницу во Франкфурте, поднялся в свой номер, где имелся бар с различными напитками и телевизор. Он

открыл бар и увидел бутылки виски, коньяка, водки и шерри. Отпробовал понемногу от всего, включил телевизор и прилег прямо в одежде на диван. По телевизору показывали порнографический фильм, который поначалу заинтересовал его, но очень скоро сделался омерзителен. Он попытался найти другой канал, но не сумел. Закрыв глаза и задремал. За завтраком ему был представлен счет: двести двадцать три марки за пять бокалов алкогольных напитков и десять часов просмотра телевизора. Вечером ему стало известно, что внизу на улице он мог получить то, что видел по телевизору, гораздо дешевле.

Но в Бостоне было весеннее утро, в моем распоряжении была ванная комната, целиком покрытая коричневым мрамором с золотой каемкой и с полотенцами, светящимися от белизны. Я опорожнила в ванну бутылку шампуня, наполнила ее водой и устроила себе такое блаженство, какое видывала только в кино. Дома я никогда не моюсь в ванне, потому что у меня не хватает на это ни времени, ни терпения, и вообще невозможно сравнить здешний блеск и белизну с подозрительным цветом моей ванны и пластиковой занавески. Я долго сидела в пенящейся воде, выпитывая роскошь и изысканность «правильного места», которого наконец-то удостоилась.

Выбравшись из ванной, я ощутила, что голодна. Дома сейчас уже почти вечер, а тут середина дня. После моего выступления в «Сандерстеатре» я приглашена на обед с редактором и газетчиками, но до тех пор — неужто мне следует погибать от голода? Я знала, что мой визит целиком оплачивается теми, кто меня пригласил, поэтомухватила с собой только пятьдесят долларов, которые собиралась потратить на подарки и непредвиденные мелкие расходы. Найду какое-нибудь дешевое местечко позавтракать. В Израиле, ока-

завшись в таком положении, я бы удовольствовалась фалафельной, но понятно, что тут нет ничего подобного и наверняка все ужасно дорого. Я спустилась в лобби и решила расспросить не клерка в регистратуре, а одного из темнокожих швейцаров. Подчеркнула: *not expensive!* — не дорого! Он махнул рукой направо и сказал: *two blocks from here* — в двух кварталах отсюда. Я подумала про себя: возле такого отеля не может быть дешевых столовок. Однако через несколько минут заметила, что на тротуаре за маленькими столиками сидят несколько человек, читают книгу или газету и при этом что-то едят пластиковыми вилками с пластиковых тарелок. Это был хороший знак. За тяжелой стеклянной дверью оказался просторный зал. Как раз когда я вошла, окончился фортепианный концерт номер 21 Моцарта, прозванный Эльвира Мадиган. Пока искала поднос, зазвучала одна из сюит для виолончели Баха (никогда не помню номеров). Люди, сидевшие за столиками, не выглядели слишком богатыми. Я глубоко вздохнула и начала изучать представленный ассортимент: в металлических сосудах помещались шесть сортов каши, в открытых мисочках — бананы, яблоки, малина, вишня, ломтики ананаса; в прозрачных пластиковых банках — грецкие и лесные орехи, миндаль, тыквенные и подсолнечные семечки, геркулес с фруктами; на подносах различные виды сыров, соленой и копченой рыбы; под стеклянными колпаками овощные салаты и съедобные побеги, в витрине — различные сорта хлеба и печений. Над каждым продуктом вывешена таблица, на которой крупными буквами перечислены проценты содержащихся в нем белков, жиров, углеводов и прочих компонентов. В углу стоял компьютер, на котором можно было получить информацию по всем вопросам питания и здоровья. На прилавке теснились банки кофе пяти сортов, пакетики с чаем, йогурты, молоко различной жирности, горячие напитки для детей.

Дома я ем утром овсяную кашу «Квакер» с фруктами и пью кофе. Теперь я водрузила на поднос несколько ломтиков ананаса, вишню и малину, маринованную рыбу, салат из разнообразных свежих побегов и шпината, йогурт, свежий хлеб, кофе и фруктовые оладьи. Приблизилась к кассе с опасением, что у меня не хватит денег, но на экране высветилась сумма в двенадцать долларов и несколько центов. Вполне терпимо. Нашла небольшой столик и принялась наслаждаться изысканной едой и не менее изысканной музыкой. Посетители были заняты тихой беседой, работники столовой радовали достойным поведением и заботились о непрерывном пополнении опустошаемых чаш и подносов. Напротив меня, за соседним столиком, сидел коренастый мужчина лет пятидесяти с густыми аккуратно причесанными русыми волосами, в светло-сером костюме, зеленовато-серой шелковой рубаше и темно-бирюзовом галстуке и читал английский «Таймс». Глаза его тоже были цвета бирюзы, стекла очков для чтения полукруглыми, над глазами нависали густые брови. Он только что покончил со своим горячим какао, бросил на меня быстрый заинтересованный взгляд и продолжил читать газету. Не поднимая глаз, снял бумажку с зубочистки и сунул зубочистку в рот.

Я завершила трапезу, скинула пластиковый прибор в бачок, установленный возле двери, и вышла на улицу. В моем распоряжении оставалось несколько свободных часов. Доклад мой был готов, запечатлен и на бумаге, и в голове. Есть время осмотреть Бостон. Я не имела ни малейшего представления, куда мне следует идти, но знала, что нахожусь в центре города и на руках у меня пластиковая карточка с названием и адресом отеля. Что может случиться? Поброжу немного.

Очень скоро я оказалась на площади Копли, и глазам моим открылось захватывающее дух сочетание: вся

площадь и город за ней, вместе с расположенной тут же огромной церковью, которой могла бы гордиться любая европейская столица, отражались в голубом стекле небоскреба — казалось, он с интересом созерцал церковь со своей неохватной высоты. Площадь была заполнена без устали фотографирующими ее туристами, а рядом с ними переваливались на ходу сизые голубки, не испытывающие ни к чему надлежавшего уважения.

Я продолжила свой путь и попала в городской парк. У нас тоже есть парк Яркон, но стыдно даже упомянуть о нем возле этого великолепия: озер, окруженных экзотическими цветами, широких деревянных мостов, окаймленных металлическими орнаментами, деревьев, склоняющихся над водой свои широкие кроны, белых лебедей, симпатичных белок, прыгающих и лазающих с приводящей в трепет скоростью, конной статуи Джорджу Вашингтону с присевшими на него на мгновение воробьями, фонтанов, собак, лопающихся от счастья, но неукоснительно удерживаемых хозяевами на поводках, старинных каменных скамей, украшенных классическими орнаментами, — о Господи, какая красота!

Я присела отдохнуть на одну из скамеек, и вдруг — трудно поверить — тот самый мужчина, который соседствовал со мной в столовой, шагает по направлению ко мне по тропинке парка и притормаживает возле меня.

— Хелоу, — приветствует он меня на британском английском, — вы не возражаете, если я присоединюсь к вам? Я видел вас в столовой и подумал, что будет приятно познакомиться.

— Вы шли за мной досюда? — спрашиваю я.

— Более-менее, — отвечает он. — На площади Копли остановился немного пофотографировать, и вы тоже остановились там. Можно присесть?

— Пожалуйста, — отвечаю я и немного сдвигаюсь, освобождая ему место.

— Шими Скотт, — представляется он, — прибыл на бостонский конгресс.

— Какой конгресс? — интересуюсь я.

— Официально это конгресс по вопросам экономики, — сообщает он, ничего не поясняя. — Бостон самый европейский город в Соединенных Штатах, — прибавляет уважительным тоном сведущего человека, — не так ли?

Я признаюсь, что незнакома с Бостоном, точно так же как и с Соединенными Штатами в целом. Он хвалит театр и классическую музыку в Бостоне, музей, я объясняю, что пробуду здесь всего несколько часов, и начинаю интересоваться им всерьез. Объясняю, ради чего прибыла сюда, он обещает прийти на мою лекцию, если разрешен свободный вход для публики. Я обещаю обеспечить ему свободный вход. Он раздевает меня взглядом своих изумрудных глаз, в которых множатся золотистые искры. «Как начищены туфли!» — говорю я себе.

В семь я встретила с редактором в клубе преподавателей Гарвардского университета. Цветы в ящиках у входа выглядели, как написанная маслом картина, растянувшаяся во всю стену музея, но они были настоящие. Мы пили кофе из забавных керамических чашечек и размешивали сахар тоненькими золотыми ложечками. В своем докладе я говорила о досадной провинциальности израильской литературы, о предательской роли иврита в отношении идиша и о дистанции между сионизмом и подлинным еврейством, еврейством Франца Кафки, Бабеля и Башевиса Зингера. Сказала, что Агнон был едва ли не последним писателем, продолжавшим великолепные традиции настоящей еврейской литературы, и на вопрос, по-

чему я так выразилась: «Едва ли не», — предпочла не отвечать. Меня фотографировали со всех сторон. Журналисты интересовались в основном моей биографией и жизненными трагедиями, которые выпали на мою долю. Я объяснила им, что в нашей семье тот, кто не может декламировать Шекспира в переводе Пастернака и насвистывать Баха, лишается права наследования. Сказала, что в Израиле умеют ценить только недоразвитых и обездоленных. Удержалась от того, чтобы добавить «выходцев из стран Востока».

Редактор наградил меня поцелуем и вручил двадцать экземпляров книги. Потом мы обедали в клубе преподавателей. На первое я заказала венский вишневый суп, а на второе стейк из рыбы-меч с пюре из артишоков в качестве гарнира. Официант, стоявший за моим стулом, не уставал подливать вино в мой бокал. На десерт подали маленькие квадратики застывшего мусса из бельгийского шоколада, присыпанные пудрой из белого шоколада. Я окончательно опьянела. Не вспомнила о том, что не проверила, присутствовал ли Скотт в зале. С трудом дотащила двадцать книг до отеля. От тувель на высоких каблуках ломило ноги.

Он стоял и ждал меня возле лифтов. Улыбнулся:

— Вы были прекрасны, — и поцеловал мне руку.

Колени мои дрожали. Он обнял меня за талию и завел в лифт.

Утром я проснулась от жужжания его электробритвы и, пока поворачивалась в постели, услышала, как хлопнула дверь. Он не оставил мне визитной карточки, только записку: «Дорогая Ира, ты была прекрасна. Пожалуйста, не пытайся искать меня. Искренне твой Скотт».

Самолет из Бостона в Тель-Авив вылетал в одиннадцать пятнадцать утра. Я знала, что до аэропорта мож-

но добраться на метро и затем на автобусе, бесплатно доставляющем пассажиров от остановки. Доллары, которые у меня остались, я собиралась потратить на подарки, а не на такси от отеля до аэропорта. Книги сложила в чемодан на колесиках и вышла на улицу. Туфли причиняли боль. Волоча за собой увесистый чемодан — до станции метро оказалось четверть часа ходьбы, — почувствовала, как одиночество каменной глыбой обрушилось на меня.

К станции метро вели многочисленные ступени. Тяжеленный чемодан с громким стуком шлепался со ступеньки на ступеньку. Неожиданно я ощутила, что его подхватывает чья-то рука. Я оглянулась, вообразив, что увижу за собой Скотта, но рука принадлежала женщине в красном плаще.

— Что вы, зачем? — запротестовала я. — Я и сама справлюсь.

— Нет, нет, позвольте помочь вам, — возразила она, улыбаясь и обнажая верхнюю десну без зубов.

Тяжелый запах пота и давно не стиранной одежды шел от нее.

— Я сама! — воскликнула я.

— Нет, — повторила она, продолжая удерживать чемодан, — вы выглядите усталой и слабенькой.

— Я не слабенькая! — разозлилась я, охваченная подозрительностью и страхом.

Рука у женщины была мягкая, когда мы достигли платформы, она разжала пальцы, но продолжала стоять возле меня с той же улыбкой и выражением удовлетворения, пожалуй, даже самодовольства на лице. Я воспользовалась возможностью спросить у нее, как мне попасть на аэродром.

— Вы должны ехать по этой зеленой ветке, — объяснила она, шепелявя из-за отсутствия зубов, — пять остановок, перейти на синюю ветку, проехать четыре остановки, там сойти и взять «челнок» до аэропорта. Я

еду в том же направлении, только выхожу на следующей остановке после вас.

Я присоединилась к ней, ободренная ее покровительством. Мы ждали поезда. Довольно смуглое ее лицо было обрамлено курчавой и светлой от краски копной волос. Джинсы плотно облегли полные ляжки, дождевик малинового цвета дополнял одеяние. Мне показалось, что ей, должно быть, лет сорок-пятьдесят. Когда прибыл поезд, я снова попыталась самостоятельно справиться с чемоданом, но колесики застряли в промежутке между платформой и вагоном, и женщина помогла мне высвободить их буквально за секунду до того, как поезд тронулся.

— Большое спасибо! — сказала я и уселась с ней рядом.

— Нет проблем, — ответила она. — Рада была помочь.

— Я лечу домой, — объяснила я, пытаюсь выразить дружелюбие.

— Где вы живете? — спросила она.

— В Иерусалиме, — сказала я.

— А, Иерусалим! Всегда хотела побывать в Иерусалиме, зажечь свечку в храме Гроба Господня, — вздохнула она. — Я верю в Иисуса. Иисус помогает мне быть хорошей.

— Вы живете в Бостоне? — продолжила я расспрашивать.

— Да, — сказала она. — Но я ненавижу Бостон.

Я не поверила своим ушам. Как можно ненавидеть Бостон?

— Почему? — спросила я в великом изумлении.

— Бостон полон преступников, — прошептала она мне на ухо. — Верьте мне, я знаю, о чем я говорю.

— В самом деле? — отказывалась я поверить.

— Да, да, в Бостоне все время совершаются злодеяния, — убеждала она. — Полно бандитов. Вы не видите их на улице, потому что они прячутся.

Теперь я вспомнила, что с четырнадцатого этажа отеля беспрерывно слышала сирены полицейских машин, и днем, и ночью, но не придавала этому никакого значения.

— Что вы говорите! Я не знала, — пробормотала я.

— Да, — повторила она. — Я собираюсь в ближайшее время перебраться в Джорджию. Там дешевле. Если я не перееду в Джорджию, это будет мой конец. Конец.

— Вы живете тут одна? — спросила я.

— Нет, с дочкой и с внучкой, — сказала она.

— Внучкой? — удивилась я.

— Да. Дочке моей восемнадцать, а внучке — четыре. Наделала она ошибок в жизни, моя дочка. Но теперь учится в колледже, хочет стать сотрудником полиции по контролю за условно-досрочно освобожденными. Она для меня всё в жизни, она справится! Да, она справится. Она сделает все как надо. У нее все время хорошие оценки. Ради этого я должна верить в Бога, в то, что он сделает меня хорошей и даст мне силы указать внучке разницу между добром и злом. Дочка и внучка — это вся моя жизнь, но, если я перееду в Джорджию, я не смогу видеть их, потому что поездка слишком дорогая и для меня, и для дочери. Я должна верить в Бога, верить, что Он подскажет, как мне жить. Он уже сделал меня лучше, чем я была раньше. Я пила, курила, делала еще много плохих вещей.

Сказав это, она улыбнулась и снова показала беззубую верхнюю десну. Крупный подбородок занимал добрую половину ее лица.

Поезд остановился, я позволила ей тащить мой чемодан и поднять его по переходу на синюю линию. Когда мы ехали по синей линии, я сфотографировала ее и дала ей свою визитную карточку.

— Если когда-нибудь приедете в Иерусалим, — сказала я, — сможете переночевать у меня, в моем рабо-

чем кабинете есть широкая тахта. Уместитесь вместе с дочкой и внучкой.

Мы обнялись и поцеловались перед тем, как я сошла с поезда. Я почувствовала, как будто в момент расставания с ней, в минуту прощания, Бостон вдруг повернулся ко мне спиной, нагнулся, приподнял свой элегантный наряд и показал мне задницу. Я была готова поцеловать ее.

ОЧЕНЬ ПРИЯТНО

— Алло, кого именно из нас двоих? Я спрашиваю, кто из двух профессоров вас интересуется? Говорит профессор Мики Израэлис, которая пользуется новейшим «макинтошем» и «наиболее дружественной» программой. А-а, не по вопросу компьютеров, так по какому же вопросу? Правильно, на этот раз тебе повезло: я — это я, а не электронная секретарша. Проблема в том, что мы весьма, весьма заняты, ты не можешь себе представить — университетская система заглатывает тебя полностью, ничего не оставляет от человека. Это ведь не только лекции и часы консультаций, это и подготовка курсов, и еще просто так, «случайно» повстречать нужного человека, и хорошо выглядеть когда это нужно, — ты знаешь, все это вопрос времени и сил. Я не говорю, упаси Бог, что необходимо переспать с каждым, но нужно создать у человека ощущение личной заинтересованности и даже немного приоткрыть колени или время от времени прикоснуться рукой, в общем, продемонстрировать внимание, в особенности если ты еще неплохо выглядишь, — правильно я говорю, Гершон? Ты уже не замечаешь, сменила ли я перекись на хну или надела блузку наизнанку. Тут в самом деле требуется одеваться по-человечески, не так, как в Израиле, тем более если тебе предстоит важная встреча. Допустим, с ректором, потому что для всего, что ты задумала, требуется изыскать бюджет, и

тот, кто солидно выглядит, тому и дают. Это закон. Как ты узнала, что я профессор? Да, это что-то новенькое. Что значит — зачем профессор? Я здесь отвечаю за израильскую культуру: язык, пресса, кино, реклама, юмор, политика — все, все! Литература — что за вопрос? Поэзия тоже, разумеется, как может быть иначе? Главным образом женская. А, я вспомнила, однажды я даже воспользовалась твоим стишком, что-то очень коротенькое — в точности подошло. Это был курс деформированного самовыражения израильской женщины — перверсии в речи и прочее, твой стишок пришелся очень кстати, мне именно такое и требовалось. Сегодня ты не можешь тут составить учебный план, без того чтобы тебя не спросили: а что с женщинами? Это мужчины говорят, мужчины, считающие себя либералами! Раньше это была Катастрофа и взаимоотношения с арабами, теперь это феминизм. С какой стати я буду против? Ты знаешь, сегодня в университетах заправляют либералы, устанавливают во всем свои правила — от присуждения степени до продвижения по номенклатурной лестнице. Получить в этом университете профессию — ого! Знаешь, именитые люди умоляют преподавать тут задаром, это не секрет. Человек только должен сказать, что он учился здесь, не важно чему, и ему автоматически обеспечена хорошая должность. Они не жалеют, поскольку понимают, что совершили удачную сделку. Просто я знаю, что продаю: они не привыкли получать израильскую культуру в деконструктивной концепции, поэтому впечатлились и купились на это. Ты видела мою книгу об арабах и о Катастрофе в ивритской литературе? Она только недавно вышла. Был положительный отзыв в «Нью-Йорк таймс», это почетно. Я научилась этому у Герсона. Когда мы только решили быть вместе — ну, ты помнишь, когда Дональд погиб в аварии, я попросила, чтобы ты посдействовала мне встретить кого-

нибудь подходящего, и ты организовала празднование пятидесятилетия твоему Михе. Я действительно находилась тогда в ужасной депрессии, была готова броситься в объятия кому угодно, даже креститься или покинуть страну, если потребуется. И с тех пор мы вместе, несмотря на то что брак все еще не оформлен, но я надеюсь, что это когда-нибудь случится, правда, Гершон? У нас сложности с Эстер, она не хочет давать развода. Это не только вопрос пятерых детей, они уже взрослые, но больше из-за ее семьи, там все, кроме нее, религиозные. Так что ему трудно решиться. Ладно, Америку он тоже иногда любит, а иногда нет. И еще проблема в том, что я преподаю в Нью-Йорке, а Гершон нашел работу тут, и это четыре часа на поезде, и мы оба все время разъезжаем по всяким конгрессам, а когда встречаемся, у каждого оказываются свои душевные травмы и срывы, и другому это очень трудно понять. Правда, Гершон? Но это удивительно, как много он умудряется писать и на сколько съездов его приглашают по всему миру. Я все время говорю ему: Гершон, я преклоняюсь перед тобой, твоя продуктивность — это нечто феноменальное, и нельзя допустить, чтобы ты растратил свою жизнь на пустяки. Вот, дорогая, если ты действительно хочешь знать, кто сегодня супер-супер, купи в воскресенье «Нью-Йорк таймс», и, если ты желаешь, чтобы и о тебе писали, ты должна сидеть здесь и налаживать необходимые связи в соответствующих кругах. Иного пути нет. Не лениться и не стыдиться и, главное, не обижаться. Сколько раз я могла обидеться, но не обижалась. У меня заняло два года написать книгу, и полгода я работала над организацией рецензии в «Нью-Йорк таймс». Я не из тех, кто понапрасну растрчивает свою жизнь. Полгода я висела, как канатоходец над большим городом. Если я не сошла с ума, то только благодаря аэробике, которой занималась каждый день. Тебе тоже стоит.

Поверь мне, человек перестает что-либо соображать, и это снимает все проблемы. Я говорю моим студентам, что Катастрофы не случилось бы, если бы немцы хоть немного занимались аэробикой. Вся мудрость в том, как ты распоряжаешься своим временем, это закон. Мой сын говорит, что я не должна писать больше одной книги в год, и я такая мать, которая очень прислушивается к мнению ребенка, очень чувствительная. Зачем мне это нужно — чтобы он наложил на себя руки? Мы в постоянном напряжении из-за него. Звоним с каждого конгресса — звонили из Токио, из Праги, с Гаити, из Лиссабона, из Мехико-Сити — это в последнем семестре. Между прочим, тебе стоит присоединиться к проекту «Звони больше — сэкономим больше», он позволяет разговаривать с границей за полцены, даже в субботу, это обойдется тебе вдвое дешевле, чем ты платишь сейчас. Вот, он очень способный парень, сейчас сдает экзамены на аттестат зрелости по высшему уровню, а ему еще нет шестнадцати. Необыкновенный парень, интересуется поэзией. Разрабатывает компьютерную программу, которая способна создавать современную поэзию. Я советую ему переключиться на кино или в худшем случае даже на театр. Хорошо, это его выбор. Дело в том, что я не так уж знакома тут с ведущими поэтами. Может, ты сможешь познакомить его с нужными людьми, ты еще занимаешься поэзией, нет? Это прекрасно. Ты всего лишь неделю тут? Что, ты вообще первый раз в Америке?! В твоём возрасте? Я не думала, что есть такие люди. Это в самом деле очаровательно. Я бы пригласила тебя к нам, но с тех пор, как у меня появился усовершенствованный «макинтош», я приняла решение никого не приглашать на ужин. Максимум, если кто-то действительно желает встретиться со мной, он звонит и спрашивает, как, на мой взгляд, вместе пообедать и выпить кофе в факультетском клубе, я загляды-

ваю в свой журнал, и если оказывается, что имеется свободный часок, так это о'кей. Ты не представляешь себе, как это для меня сложно — найти окно в расписании. Нужно обращаться минимум за три недели. У меня есть часы приема во вторник от двух до трех, но нужно предварительно записаться у секретарши. И не говори, что ты не завидуешь мне. Еще как завидуешь! Каким компьютером ты пользуешься? Что значит — ты не нуждаешься в более совершенном? Твой компьютер устарел, по крайней мере, на четыре поколения, он вообще неспособен работать с «самой дружественной» программой — это не мешает тебе? Но никто уже не пользуется такой операционной системой, мы с Гершоном с трудом помним, как она называется. Если ты хочешь, чтобы тут обратили внимание на твою писанину, то прежде всего поменяй компьютер. Это первое, чему я научилась у Герсона, когда мы еще жили в Израиле. Он всегда смотрит на все глазами европейца, который имеет представление о том, что такое культура, разбирается в старинной мебели и в архитектуре — не так, как мы, которых гнусно обманывали. Что значит — обманывали? Уверяли нас, что только говорить на иврите — это прекрасно, однако, когда хотели обсудить самые важные вопросы или поделиться своими секретами, переходили на идиш или польский. Утверждали, что самое главное, это быть вместе — единство! А вежливость — пустое лицемерие. Гершон заставил меня преодолеть эту узость горизонтов, эту мерзкую провинциальность, освободиться от диктатуры мапайников*, которые одни только всё знали и взирали на прочих с высоты своего превосходства.

* МАПАЙ (*Рабочая партия Земли Израиля*) — политическая партия, которая после основания государства в течение долгого времени составляла основу правящих коалиций. В дальнейшем объединилась с двумя другими социалистическими партиями в Партию труда («Авода»).

Правильно, Гершон? Ты мог бы хоть разочек ответить мне. Из-за этого я уже не могу жить в Израиле, я такой тип, я тотчас чувствую, что меня не принимают, меня бойкотируют. Да, у меня это так — я не могу жить, если на меня не обращают внимания. Это бесит меня, эту злость я тащу за собой. Злость — это такая вещь, которую следует выражать ассертивным способом. Ассертивное поведение невозможно развить в себе без тренинга, способствующего формированию уверенности в себе. Я это говорю и своим студентам. В чем это выражается, что меня не принимают, что меня бойкотируют? Вот, например, я снова и снова рассылаю свои статьи или предложения прочесть лекцию на каком-то съезде и получаю их обратно. Или, когда я приезжаю навестить родителей, они тотчас объявляют, что если мы с Гершоном до сих пор не вступили в законный брак, видимо, это не слишком серьезно для одной из сторон, и спрашивают, чего мы ждем. Как будто после пятидесяти мы опоздаем. Почему я должна чувствовать, будто я что-то упускаю? Разве ты чувствуешь, что ты куда-то опаздываешь, что-то упускаешь?

Что — по телевизору показывают хорошую картину? Извини, я не смотрю телевизора и не интересуюсь кино, я должна работать над статьей. Прекрасно. В самом деле, замечательно, что ты позвонила, очень, очень мило с твоей стороны. Я бы пригласила тебя к нам, но это действительно принципиальное решение. Может, как-нибудь пообедаем вместе? Так, без каких-либо обязательств. Звони.

ТИГРИЦА

С первого взгляда стало ясно, что букет лютиков, который мы принесли, тут излишен. Уже возле вешалки, на полочке под зеркалом, стояла современно расписанная бутылка и в ней небольшой букетик заспиртованных фиалок. На обеденном столе, накрытом на четверых, помещалась чаша, в центре которой возвышался лиловый гиацинт, а у его подножья красовалась композиция из цветов миндаля и веточек киви, оформленная в японском стиле. Как видно, именно опьяняющий запах гиацинта затопил нас тотчас при входе в квартиру Игаэля и Эльки. На журнальном столике в гостиной возвышалась покрытая серой глазурью керамическая ваза и в ней огромный букет, включавший в себя сверкающую оранжево-коричневую королевскую стрелицию, известную также как райская птица, оранжевые лилии и оранжевые розы. Все это венчали стебли тростника. Великолепный этот букет почему-то был втиснут в вазу обернутым в целлофан. На подоконнике выстроился ряд горшков с орхидеями, восковые цветы которых отражались в стекле.

Дверь нам открыла Элька, поскольку Игаэль — трудно поверить — был занят на кухне.

— Что это за красотка? — ласково пропел ей с присутствующей ему учтивостью мой муж Моше. И действительно, достаточно было взглянуть на туго обтягивающие брюки, чтобы убедиться, что за тот год, что мы не виделись, Элька избавилась от многих килограмм-

мов, и короткая стрижка тоже убавила ей несколько лет. Только полные губы как будто ввалились в рот, и странным блеском сияли желто-зеленые глаза, обведенные черными рамками.

— У кого-то день рождения? — спросила я, опасаясь, что забыла дату.

Всем своим видом я приносила извинения и бормотала, что мы давно не были у них, несмотря на то что всякий раз обещаем и принимаем решение, но ведь расстояние между Иерусалимом и побережьем, да еще в канун субботы, да еще если ехать по Шестому шоссе, правильно, все это отговорки, но это так, есть много такого, что мы хотим сделать и откладываем, как будто вся жизнь еще впереди, а ведь мы уже не так заняты, поскольку и я, и Моше уже вышли на пенсию и можем делать что нам вздумается, не нужно вставать утром на работу, пенсия поступает на банковский счет без того, чтобы приходилось утруждать себя — каждое утро я снова и снова удивляюсь этому, — ах, вы еще молодые, но поживете с нами и убедитесь.

— Кто убедится? — сказал Игаэль, и я вдруг заметила, что кудри его почти совсем поседел за тот год, что мы не встречались.

— Вы, оба! — произнесла я бодро. — Увидите и не поверите, насколько это замечательно. Знайте, что есть чего ожидать.

Элька улыбнулась нам с большой симпатией и спросила:

— Где сядем?

Мне показалось, что голос ее сделался более грубым, каким-то жестким, металлическим, и я спросила себя, не является ли это частью ее усилий быть красивой и выглядеть современной.

— Сядем тут, хорошо? — предложил Игаэль и без долгой волокиты опустился на стул возле обеденного стола.

Мы были знакомы с ним и не ожидали внезапного увлечения цветоводством от человека, проработавшего долгие годы в системе Службы общей безопасности. Его брюхо, разбухшее еще больше за истекший год, свидетельствовало о не знающем удержу аппетите. Он был известен своим аппетитом и в других областях, кому, как не мне, это знать. Эльке это тоже известно. Однажды он даже покинул дом на целый год, потом вернулся и сказал Эльке, что только с ней ему действительно хорошо в постели. Может, эти цветы призваны отпраздновать еще одно такое возвращение? Это «хорошо?», обращенное к Эльке, выглядит в моих глазах подозрительно. Он не имеет обыкновения спрашивать чьего бы то ни было согласия, тем более Эльки.

— Все готово, — сказал он Эльке. — Ты должна только разогреть кое-что и сделать салат, хорошо?

— Смотрите, смотрите, что за жизнь у меня! — воскликнула Элька и расхохоталась, как девочка, которую до слез насмешили.

Она стояла возле сверкающего мраморного покрытия на кухонном столе, повернувшись к нам спиной, и снимала с противня алюминиевую фольгу.

— Вы голодны? — спросил Игаэль.

— Все в порядке, — ответил мой муж, — мы можем подождать.

— Нет, потому что я голоден, — сообщил Игаэль почему-то шепотом, как будто это был секрет, который Эльке не следует слышать, а сам тем временем ощупывал взглядом мое лицо и фигуру.

— Погода слишком хорошая, — сказал мой муж Моше. — Пришла пора пролиться наконец дождем.

Мы принялись обсуждать возможность наступления засушливого года, состояние озера Кинерет, а также Мертвого моря, которое вообще пересыхает. Я спросила Игаэля, ищет ли он все еще в Иерусалиме явочные квартиры для Службы общей безопасности,

потому что однажды он поинтересовался, нельзя ли воспользоваться нашей квартирой для конспиративных встреч в те часы, когда нас не бывает дома. Мы стали говорить о положении в области безопасности, а также о политике и поездках за границу. Игаэль рассказал нам, что они только что вернулись из Бразилии, а теперь готовятся отправиться в Южную Африку.

— Это не связано с работой, я взял ради этого внеплановый отпуск, — сообщил он с гордостью.

Оторвал кусок от халы и принялся с нетерпением жевать его, оделив и нас такими же кусками халы, вытащил пробку из бутылки вина и разлил его в четыре бокала, но не сказал ни слова Эльке, которая занималась приготовлением еды, живо участвуя при этом в общей беседе, вначале стоя к нам спиной, а потом обернувшись лицом и как будто совершенно забыв о предстоящем обеде. Так прошло больше получаса, и мы тоже сделались очень голодны.

— Как дела, Элька? — поинтересовался наконец Игаэль миролюбиво, каким-то несвойственным ему голосом.

— Ой, я уже подаю, — сказала Элька, водружая на стол дымящуюся миску с красно-коричневым супом минестроне. И добавила просто и с улыбкой человека, который рассказывает смешной анекдот: — С этим раком та проблема, что у меня совершенно пропал аппетит. Игаэль вынужден каждый раз спрашивать, что я ела на завтрак, на обед, потому что я совершенно забываю о еде. Что, я не сообщила вам? Ладно, вы не были у нас столько времени. Я рассказываю всем совершенно свободно. Я сейчас в первой стадии, относительно хорошей, у меня нет болей, только усталость. Я принимаю моксипен и все время хожу на проверки. Трудные времена впереди. Мое счастье, что я не должна проходить химиотерапию, остальное в порядке, только аппетит совершенно пропал.

В комнате установилась тяжелая тишина.

— Элька тигрица, — сказал Игаэль и посмотрел на нее глазами ребенка, влюбленного в свою маму.

— Как ты справляешься с этим? — спросил наконец мой муж Моше ласковым голосом.

— Я организованный человек, — сказала Элька, — я делаю все, что полагается: раздаю вещи, альбомы, фото, составила завещание, включая обещание Игаэлю, что я разрешаю ему жениться на другой женщине.

— Как будто я должен ждать ее разрешения! — фыркнул Игаэль, возвращаясь вдруг к своей обычной мужской грубости.

— Что тяжелее всего — это говорить с детьми, объяснить им. Они совсем убиты, — вздохнула Элька. — По их мнению, я должна сейчас успеть сделать все, что собиралась и не сделала. Я сказала, что хочу посмотреть мир, поездить по свету, и они говорят: забудьте о нас, не нужно никакого наследства, путешествуйте, и не важно, во что это обойдется. Но ведь Игаэль уже и так объездил полсвета, так что теперь мы ездим в такие места, где он еще не бывал, — пока пачка лекарств не составляет дополнительного веса.

Спустя два месяца мы с Моше поехали навестить Эльку в больницу. Она лежала на спине с закрытыми глазами, очень худая, с облысевшей головой. Игаэль сидел возле нее, с трудом поздоровался с нами. Она открыла глаза и сказала:

— Как хорошо, что вы пришли. — И тут же захлопнула рот с исчезнувшими губами. Когда она говорила, обнажились десны, в которых не было зубов.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил мой муж Моше.

— Все хорошо, — сказала она и снова поспешила закрыть рот.

Глаза она тоже закрыла. Было ясно, что ей не выдержать слишком долгого визита.

Когда мы вышли в коридор, Игаэль поспешил нагнать нас.

— Я не могу больше, — сказал он.

— Что происходит? — спросил мой муж Моше.

— Мне трудно принять решение, — сказал Игаэль.

— Относительно чего? — спросил мой муж Моше.

— Вы друзья и вы можете судить объективно. Так скажите, что бы вы сделали? Это как будто проблема денег, но, в сущности, это не только деньги. Она хочет искусственные зубы, не готова остаться вообще без зубов. И это колоссальный расход. Ко-лос-саль-ный. За последний год мы потратили больше половины наших сбережений на то, чтобы болтаться по свету. Тысячи шекелей выброшены на альтернативную медицину, всякую йогу-шмогу и Бог весть что. За один месяц накупила на тысячи шекелей разных шмоток: три пары меховых сапог, два замшевых костюма, просто поставила меня перед фактом — купила, и всё. Ни о чем не спрашивая. Теперь искусственные зубы. Вы думаете, это оправданно? Это правильно? Я должен влезать в долги ради зубов, которыми она вряд ли успеет воспользоваться. Следует ли делать это за счет детей, за счет тех лет, что мне еще осталось прожить?

На рубахе, прикрывающей его живот, не хватало пуговицы как раз в районе пупка, можно было видеть, как живот дрожит, как Игаэль пытается сдержать эту дрожь и не может. Мы с Моше в недоумении смотрели друг на друга, пытаясь угадать, как бы каждый из нас поступил в таком случае.

— Игаэль, — сказал Моше, — никто не может в подобной ситуации принять решение за тебя.

На поминках мы не посмели спросить у Игаэля, исполнил он в конце концов желание Эльки или нет. В доме было полно друзей, в особенности приятельниц Игаэля, которые хлопотали, жарили, парили и подава-

ли угощение, охотно демонстрируя свои способности домохозяек. Дом был завален цветами: каллами, гладиолусами, розами, королевскими стрелициями.

Года через два после этого мы встретили Игаэля в аэропорту имени Бен-Гуриона, откуда мы отправлялись на конец недели в Париж — отпраздновать тридцатую годовщину нашей свадьбы. Он был в официальном костюме и держал в руках «Джеймс Бонд». Живот почти исчез. Кудри его окончательно побелели, да и вообще были коротко острижены. Щеки выбриты до синевы. Глаза не изучали ни моего лица, ни фигуры, они были квадратными и избегали встречи.

— Эй, Игаэль, что слышно, как дела? — спросил мой муж Моше.

— Не знаю, — ответил Игаэль.

— Что случилось? — спросил Моше.

— Ничего. Лечу по делам. Работаю тяжело, но непонятно ради чего. И ради кого, — добавил он.

— Что с детьми?

— Дети в порядке. Не забывают меня. Мы каждую неделю ездим на могилу Эльки, ухаживаем за цветами. Устроили автоматический полив, потому что, когда я бываю в командировке, некому поливать.

— Может, какая-нибудь из твоих подружек могла бы взять на себя эту обязанность? — открыла я рот.

— Оставь меня в покое с подружками, — отмахнулся Игаэль. — Ни одна не желает жить со мной в доме, все стены которого увешаны фотографиями Эльки.

— Что ты говоришь! — воскликнула я.

— И даже в спальне, — кивнул Игаэль и наконец одарил меня слабой улыбкой.

— Она была особенная, — промямлила я, пытаюсь хоть что-то сказать.

— Она была тигрица, — сказал Игаэль и отвернулся от нас, чтобы мы не увидели его глаз.

ТРЕТЬЯ ГОДОВЩИНА

Хотя погода стояла прекрасная, все-таки было неясно, кто из них придет в этом году и как они с этим справятся. По правде сказать, мне это было уже не особенно важно. Кто из них потрудился прийти послушать, как мы с Ами играем на трубе в кафе «Ацида»? Все они, кроме отца, ненавидели трубу с самого начала. А отец — отец не мог примириться с тем, что мы с Ами вместе, даже если меня и в армию взяли, и вообще. Он неспособен был выдавить из себя слово «гомосексуал», сказал только:

— И это мой сын?! Сын Якова Леви? Я его не знаю, — и посмотрел на меня таким взглядом, будто и впрямь не знает меня, только боится.

Мне уже знаком был этот взгляд, мама так же на меня посмотрела, когда я пришел домой с бритой головой и с серьгой в ухе. Посмотрела так, а потом вытащила мою фотографию, где мне три годика и у меня светленькие кудри до плеч, и так рыдала, как будто я ей не знаю что сделал. Но в конце концов успокоилась. Я все-таки надеялся, что хоть кто-нибудь, особенно мой брат Алон, заглянет послушать, как я импровизирую с Ами в кафе «Ацида» и как публика сходит с ума, но они все объяснили, что у них нет времени, и долго толковали о том, как они заняты, и все такое: Алон у себя на радио, Нили в студии, Нета в клинике, а отец в лавке до самого вечера. Ладно, мама пришла,

но вообще не слушала. Она всегда занята, в особенности с тех пор, как стала большим человеком — инспектором детских садов, — но по-прежнему не может никому сказать «нет», вот и назначила там встречу на четверть часика с какой-то девицей, одной из своих воспитательниц, проговорила с ней все время, а потом подошла к сцене и у всех на глазах вручила мне плитку шоколада с начинкой, какую я когда-то любил, как будто я малыш из детского сада. Одну плитку, словно Ами вообще не существует, ни слова не сказала про исполнение, наверно, все еще не привыкла к мысли, что я уже не играю на пианино.

Но сюда они все приходят. На похоронах, понятное дело, были все, включая Ами, и никто ему худого слова не сказал, даже когда он заткнул уши во время залпа и потом, когда военный раввин запел «Господь, исполненный милосердия». И мне это было приятно, как будто я снова стал маленьким мальчиком, которому все прощают.

В первую годовщину отец с мамой еще пришли вместе, и Алон, который, как мне показалось, был не совсем здоров, и Нили с Эйтаном, и Нета с жемчужной серьгой в пупке, хотя живот уже большой, специально чтобы позлить их, особенно Нили, которая никак не может забеременеть, хотя она старшая дочь и прекрасно устроена при своем бухгалтере, и бабушка. Бабушка была недовольна надписью:

— Это что же, Михаэль Леви и даты, и это все? Хоть бы имя отца поставили. Он разве не внук рабби Меира Леви?

Я немного разнервничался от этого, но все-таки чувствовал, что нуждаюсь в том, чтобы они приходили, что я все еще скучаю, даже по таким вещам, которые заставляют нервничать. По правде сказать, с тех пор это все меньше и меньше меня волнует. Как-то уже не осталось во мне почти ничего такого, что казалось бы

важным. Но они не отступили и во вторую годовщину, опять пришли вместе, несмотря на то что мама и отец уже разошлись и отец переехал жить на побережье, и несмотря на то, что Нета и Нили не разговаривают друг с дружкой, даже по телефону, и Алон тоже живет уже не здесь, а в Галилее с Диной, и дедушка умер. Это было тяжело. Но они не отступили. Слова друг другу не сказали, только занимались поливкой и уборкой, и каждый старался показать остальным, что он лучше знает, что надо делать. А что в этом году? Я ждал, как дозы наркотика: не могу без нее и в то же время понимаю, что вредно.

Вообще-то мама уже приходила сюда неделю назад, отдувалась и задыхалась и поглядывала на часики. Тщательно протерла надгробный камень хлоркой, удалила все пятна и плесень, выкопала из больших вазонов засохшие за лето кактусы и кусты розмарина и посадила вместо них лобелии. По бокам вазонов заструились ярко-синие цветы. Двое рабочих-арабов, которых она наняла, помогли ей вытащить из багажника глыбу дырчатого песчаника и возложить на мой камень. Она засунула в дырки небольшие клубни цикламенов с проклюнувшимися из них зелеными кустиками, некоторые из которых уже начали цвести. Все это заняло у нее двенадцать минут, после чего она тут же уселась за руль своего «рено» и укатила сначала в оптовый мясной магазин, а затем в Педагогический центр, всю дорогу слушая канал классической музыки.

Отец побывал здесь еще раньше, в ноябре, в связи с годовщиной смерти его бабки. Отдав должное ее памяти, заглянул и ко мне — распластался на надгробной плите, обхватил ее всю, принялся целовать буквы моего имени и кричал:

— Михаэль! Михаэль! Прости меня!

Шлепнул себя по лицу и стал рыдать, издавая странные подвывания, эхо от которых разнеслось по всей

территории. Потом он положил на мою плиту множество маленьких камушков, таких же, как те, какими покрыта могила прабабки, и это его слегка успокоило. Нета, и Нили, и Алон, и даже бабушка кладут на меня камушки, потому что они видели, как это делает отец, и потому что не знают, чем занять руки. Только одну маму эта возня с камушками бесит, и она не кладет их, вот и получается, что она против всех, как всегда. По мне, пусть кладут что хотят, лишь бы не ссорились.

Судя по погоде, есть неплохие шансы, что кто-нибудь явится, неясно только, кто придет с кем. В день похорон шел проливной дождь, поэтому дедушка прямо из зала отпеваний отправился на центральную автостанцию. Он объяснил, что на военном кладбище жуткий ветер, а он простужен и боится бронхита. Теперь он лежит на кладбище в Холоне, и там действительно в зимнее время гораздо приятнее.

Первой появилась бабушка. Она всегда говорила мне, сверкая глазами от гордости:

— Я тебя первая увидела.

Первая прибежала, раньше отца, в больницу, когда я родился, а мама не в счет. Она увеличила мою паспортную фотографию и повесила в огромной посеребренной раме на стене у себя в комнате в доме престарелых, а сейчас принесла с собой оригинал, чтобы смотреть на него и плакать. Стоит ей увидеть маму, как на глазах у нее появляются слезы и она говорит:

— С тех пор как Михаэль погиб, тьма накрыла мой мир.

Когда-то, желая взять верх в препирательствах с дедом, она объявляла: «Я выросла в Плонске». Плонск, как известно, город Бен-Гуриона. Теперь она говорит: «Мой внук погиб в Газе», желая поставить на место какого-нибудь заядлого спорщика в доме престарелых.

Бабушка принесла букет лиловых цветов с жесткими стеблями, из тех, что долго стоят, и тотчас при-

нялась изучать соседние могилы. «Интересно, — рассуждала она, — Авишай Яхалом... Уж не внук ли Мордехая Яхалома из пенсионной кассы?» Дело в том, что жена Мордехая преподавала пение в той же школе, где работала бабушка. Гита Яхалом была женщина чрезвычайно несимпатичная и чрезмерно любила мазаться и краситься, так почему же именно на могиле ее внука все так замечательно цветет? «Интересно, платят они, что ли, здесь кому-нибудь? И не крадут ли у кого эти вазоны? Какая наглость!» Сказав «какая наглость», бабушка почувствовала себя немножко лучше и отправилась искать кран, чтобы поставить лиловые цветы в воду. Навстречу ей шли обнявшись трое: весьма дряхлый мужчина и две похожие между собой старые женщины, видимо сестры. Женщина, шедшая посередине, склонила голову на плечо мужчины.

— Мой внук погиб в Газе, — сообщила им на ходу бабушка.

Они остановились.

— Наш сын пал в Шестидневной войне, — ответил старик.

— Мой внук был такой талантливый! — сказала бабушка. — Он играл на трубе в кафе «Ацида».

— Нельзя забывать, — сказал старик. — Мы хотим издать памятную книгу писем Яира к его девушке.

— Мой внук играл на трубе, — повторила бабушка, — у него было большое будущее. Он получил стипендию от фонда Шарета. Сам Рейнолд Фридрих слушал его, — она оглянулась по сторонам, нет ли вокруг еще людей, кроме этих троих, которые захотят узнать мою историю.

Старуха, стоявшая сбоку, сокрушенно кивнула головой и сказала:

— Мы не забываем их.

Возле крана появился отец — вылез из своего пикапа «пежо», набитого жестяными банками с маслина-

ми и оливковым маслом. Вероятно, закупил по дороге для своей лавки. Там же помещались косо сваленные строительные доски для ремонта.

— Как видно, Яков, надо кому-нибудь заплатить тут, чтобы поддерживали порядок на могиле, — сказала ему бабушка, не поздоровавшись и не осведомившись о делах, как будто продолжала давно начатый разговор. — Что это, никто сюда круглый год не заглядывает? Как меня забросили, так и его. Он всегда был у вас запущен, Яков. Дети требуют внимания.

Отец оставил ее возле крана и продолжил свой путь ко мне. Он был небрит, и в щетине уже проглядывало много седины. На нем оказалась легкая куртка, которую он купил мне ко дню рождения, а на голове красовалась фуражка, подаренная ему, как видно, одной из его новых приятельниц. Подойдя к могиле, он прямо при всех грохнулся ничком на холодную плиту, прижался к ней грудью, обхватил обеими руками и распростерся так, что не осталось места ни для кого другого, перецеловал буквы моего имени и разразился великим облегчающим плачем, отдающимся эхом во всех уголках кладбища. Тут мне вспомнилось, как, когда я был маленьким мальчиком, он возвращался с работы, ложился на диван и клал голову мне на колени, а я гладил его по голове. Он делал это в те времена, когда у него были неприятности не то с муниципалитетом, не то с какими-то покупателями, и его не покидало чувство подавленности. Это бывало только со мной, потому что я был его первенец, а мама постоянно оказывалась слишком занята, даже когда еще не стала большим человеком. Интересно, есть ли сейчас кто-нибудь, кто погладил бы его — может, какая-то женщина? Ему бы не повредило.

Он сказал бабушке:

— Я предупредил Орну, что приеду сюда к десяти, и попросил ее прийти в другое время. Но она ответила,

что я ошибаюсь, если думаю, будто она собирается захватить с собой Амнона, и стала говорить о том, что Михаэль очень хотел бы, чтобы мы были все вместе. Теперь она вспомнила, что следовало бы считаться с желаниями Михаэля.

— Да, после его смерти она нашла время починить всю его одежду, — согласилась бабушка, — а ты после его смерти вспомнил подремонтировать и красиво покрасить его письменный стол.

— Это не одно и то же, — буркнул отец, — столом еще можно будет пользоваться.

Тут к могиле подошла моя сестра Нили со своим мужем Эйтаном. У Нили на груди была привязана розовая сумка-кенгуру для младенца, в которой сидел Типекс, ангорский кот, с некоторым любопытством высовывавший наружу голову. Нили была одета в лиловый костюм, на ней были лиловые солнечные очки, и даже губная помада была лиловая. У Нили с Эйтаном все еще нет детей, хотя они уже шесть лет как женаты, но судя по тому, как они заботятся о своем Типексе, из них получились бы прекрасные родители. Типекс однажды даже удостоился главного приза на кошачьем конкурсе красоты, но теперь он не желает оставаться дома один, и, видимо от старости, ему даже двигаться трудно, поэтому они всюду таскают его за собой в сумке-кенгуру. Эйтан приволок огромный горшок с лиловой орхидеей, которую Нили водрузила в центре надгробного камня, не сняв ни целлофана, ни ленты.

— Да она даже до завтра не доживет! — провозгласила бабушка.

— Ну и что? — ответила Нили с вызовом.

— Это от меня тебе досталась любовь к лиловому цветку, — дипломатично переменила бабушка тон и окинула Эйтана покровительственным взглядом.

С тех пор как стало ясно, что актрисы из Нили не получится и в газетах о ней не напишут, бабушка

сильно к ней охладела и пытается теперь завоевать симпатию Эйтана, который, как знать, может, станет однажды знаменитым архитектором. Мама как-то рассказывала мне, что дедушка собирался жениться на бабушкиной младшей сестре, той, что погибла в Катастрофе, но бабушка каким-то образом перемашила его. Глядя на нее теперь, как-то трудно в это поверить, но сама она своего возраста не замечает. Принесла с собой в дом престарелых домино и каждого мужчину, который ей приглянется, приглашает поиграть.

Эйтан пожал отцу руку и спросил, как дела, и отец довольно-таки кисло ответил «в порядке». Эйтан, единственный в нашей семье нормальный человек, поинтересовался, как насчет кадиша — поминальной молитвы, — и отец тут же принялся громко взывать к тем троим, у которых сын погиб в Шестидневной войне, а Эйтан пошел искать еще мужчин для миньяна*. Тем временем подошел мой брат Алон — приехал из кибуца со своей женой Диной, явно беременной. На обуви у них налипло много грязи.

Нили и без того терпеть не может Дину, а тут она мало что беременная, так еще и одета безвкусно, бархатная юбка горчичного цвета и черная блузка с голыми плечами. Нили едва заставила себя поздороваться с ней. Дина стала прохаживаться по тропинкам между могилами, мечтательно поглаживая себя по обнаженным плечам и внимательно рассматривая бегущие по небу облака. Алон обеими руками обнял отца, поцеловал в щеку бабушку, положил руку Нили на затылок, и его карие глаза увлажнились.

— Алон, ты бледный, — сказала бабушка, — я думаю, у тебя в кибуце хоть здоровье поправится.

* Миньян — по закону иудаизма, кворум из десяти взрослых мужчин, необходимый для общественного богослужения и ряда религиозных церемоний.

— Что поделаешь, бабуля, — ответил Алон, — человек свою голову и свой живот повсюду берет с собой.

Эйтан вернулся в компании шестерых религиозных мужчин и сказал, что вместе с тем, который Шестидневная война, хоть он уже и отошел достаточно далеко, для кадиша достаточно мужчин, но только стоит немного подождать, потому что мама обязательно прибудет, и Нета тоже звонила и сказала, что приедет. Услышав, что будет Нета, отец согласился ждать.

Один из мужчин в вязаной кипе торопился куда-то и, чтобы не нервничать, стал читать нам лекцию:

— Тот, чья смерть близка, освобожден от соблюдения заповедей, подобно прокаженному и жениху в день свадьбы. Почему так? Ибо они вне жизни, они как бы в ином мире. Никому ничего не обязаны, даже рукопожатия. А без обязанностей, без беседы с обществом людей что остается от жизни? И однако же есть между ними существенное различие: прокаженный уже не вернется к жизни никогда, а новобрачный вернется к жизни сразу после свадьбы. Того же, кто скорбит по умершему, мы, евреи, должны вывести из мира мертвых обратно в мир живых. Не сразу, но потихоньку, постепенно, на протяжении первого года траура. А после года — все. Нельзя больше убиваться. Известно ли вам, что не было такого обычая — отмечать годовщину смерти — во времена Второго храма? Все траурные ритуалы исполнялись на протяжении одного года, а затем совершалось собирание костей: открывали могилу, собирали кости умершего, складывали в саркофаг, помещали его в погребальном склепе, и конец. Вся эта история с днем поминовения — позднейшее христианское влияние, так же как и день рождения. Евреи празднуют бармицву, а не день рождения. Есть много обычаев, которые превратились в заповедь в позднейшее время, например...

Все, кроме Нили, вздохнули с облегчением, когда заметили приближающуюся к нам копну Нетиных ры-

жих кудряшек. На Нете было пончо изумрудного цвета, красные резиновые шлепанцы без задников, огромные ее груди колыхались от быстрой ходьбы, перед собой она толкала детскую коляску. Сперва она долго обнималась с отцом, и он опять принялся плакать. Затем попыталась обнять бабушку, но бабушка не далась. На Хануку бабушка призвала Нету к себе в дом престарелых и сказала, что если та поможет ей навести порядок в шкафах, то получит ханукальные деньги, а Нета взяла и не пришла. Нета сама приучила бабку к тому, что вечно прибирает у нее в комнате и наводит порядок в шкафах, но после того как в течение двух последних лет она не делала этого, бабка надумала приманить ее ханукальными деньгами. А от Нили она ничего такого никогда и не ожидала. Нета первая обратила внимание на Динину беременность и восхищенно воскликнула: «Ух ты!» — и погладила бархатную юбку в том месте, где живот. Алона она так крепко сжала в объятиях, что он высвободился из них весь красный.

К Нили с Эйтаном она даже не подошла, потому что у нее аллергия на кошек. Религиозный мужчина, который читал нам лекцию, смотрел каждые полминуты на часы, остальные разошлись по сторонам и рассматривали надгробные камни.

И тут появилась мама. В своем брючном костюме она выглядела более худой, чем раньше, и более мужественной, огромные черные очки закрывали пол-лица. Она держала в руке ноутбук, и вид у нее был очень занятый, как всегда. Заметив ее, отец направился к своему «пежо», но положение у него было безвыходное, дорожка там очень узкая.

Мама сказала:

— Здравствуй, Яков, рада тебя видеть.

Он не ответил.

— Зачем ты это делаешь, зачем это все? — спросила мама.

— Зачем? Не знаю, таков обычай, — ответил отец и прибавил: — Все эти цветочные горшки и каменные глыбы, которые ты тут ставишь, — мне это мешает распластаться на плите как полагается.

— Яков, кому это нужно? — упрекнула мама. — Михаэлю все эти обычаи ни к чему, это для нас, чтобы мы были вместе.

— Нет между нами никакого «вместе»! — воскликнул отец.

— Это правда, но давай сегодня притворимся.

— Я не желаю притворяться!

— Нет так нет, — смирилась мама.

Отец глянул на нее с ненавистью:

— Я слышал, ты прекрасно устроилась со своим Амном — после того, как изуродовала мне жизнь. Потаскуха!

— Яков, ты был и остаешься очень интересным мужчиной, но это ты разбил мне жизнь, — воззвала мама к справедливости. — Теперь пришло время калечить ее другим.

Ее присутствие всегда ввергает Нили и Нету в еще большее раздражение. Алон тоже это знает, поэтому, едва мама подошла, он сразу объявил ей, что этот костюм делает ее удивительно стройной, обнял и произнес:

— Я хочу сказать, что мы не должны чувствовать себя виноватыми в том, что Михаэля нет, и не должны ни на кого сердиться. Маме я хочу сказать, что она хорошая мать и была хорошей матерью и Михаэлю, и всем нам. Отцу я хочу сказать, что Михаэль наверняка давно простил его. Нете и Нили я хочу сказать, что завидую вам, потому что у каждой из вас есть живая сестра. Хотел бы я иметь живого брата...

Тут произошло нечто непредвиденное: Типекс выпрыгнул из сумки и шлепнулся прямо в коляску с младенцем. Есть у кошек такой талант: издали почув-

ствовать, где самое уютное местечко. Нета кинулась к коляске с возмущенным воплем, схватила кота за шкурку и швырнула его на надгробную плиту, но он успел исцарапать ей лицо и руки.

Кот, встряхнувшись, вероятно, метил растянуться на нагретом солнцем камне, но Нили немедленно подхватила его, бережно опустила обратно в сумку, и с глазами, брызжущими ненавистью, крикнула Нете:

— Идиотка!

Нета мгновенно сдернула с ноги красный шлепанец и с размаху хлестнула Нили по щеке. Нили одной рукой вцепилась в Нетины кудри и стала что было силы драть их, а второй лупила по веснушчатым щекам.

Мама завопила:

— Прекратите! Вы с ума сошли!

Отец ухватился за Нету, бабушка — за Нили, но те не прекращали драться:

— Скотина! Извращенка! Фригидная! Фашистка!

Религиозные евреи смотрели на все это, как на запрещенную к демонстрации киноленту. Алон наконец растащил сестер и постарался поставить подальше друг от дружки, одну у меня в головах, другую в ногах. И тогда наступила тишина. Отец попросил Алона, чтобы тот прочел кадиш, потому что он сам не в состоянии, но религиозные возразили, что читать должен отец, и он начал, но посередине голос его задрожал и сорвался, и он зарыдал, потом взял себя в руки и стал читать дальше, и прочел все до конца, а я думал: вот уже три года, а я по-прежнему очень по нему скучаю. Потом прочитали несколько стихов из Книги псалмов, начинающихся на буквы моего имени, а также «Господь, исполненный милосердия».

Прежде чем они удалились, Алон лег грудью на мою плиту и зарыдал в голос, почти как отец, но капельку тише. Мне это было тяжело. Я бы не хотел, чтобы они пришли на будущий год.

ПОСЛЕ

Он видел сон, будто у него нет иного выбора, как только тянуть изо всех сил к себе Лиат за правую руку, поскольку Нира, со своей стороны, коварным приемом тянет ее за левую руку, а Лиат была бледной и холодной как лед. Она в самом деле была бледной, и холодной, и тяжелой, как мороженая рыба из морозильника, так что даже если колотить молотком по ножу, не удастся разрубить ее, и все-таки он тянул изо всех сил, чтобы спасти ее от Ниры, и под конец тело Лиат оказалось у него в руках без головы, но с большими грудями, которые теперь начали оттаивать в раковине, и с них начала капать вода, и прикосновение к ним было восхитительно, как прикосновение к мраморной статуе Близнецов Менгеле, статуе, за которую он удостоился первой премии, и он оставил Лиат, которая уже сделалась прозрачной, на мраморном кухонном столе, но он должен был разрезать ее на тонкие ломти, которые ускользали в кастрюлю из нержавеющей стали в раковине, и Нира стояла там, наблюдая за ним, чтобы он не забыл положить в рыбный суп, который он научился варить, когда еще был на корабле, достаточно острого перца, если он хочет, чтобы и она ела, и он хотел заорать: «Прекрати кастрировать меня!», но глотка, и губы, и даже десны были как после обезболивающего укола у зубного врача, и тут он проснулся и увидел, что Нира спит с ним рядом, и ощутил, что изо рта у нее вырывается запах

цветочных стеблей, которые слишком долго простояли в вазе, и вспомнил, что разрешил Нире спать на кровати в его студии, а не как обычно с тех пор, как перешел спать в студию отдельно от нее, просто чтобы защитить себя, свои нервы и кровяное давление от ее жалоб и рыданий, и тогда, еще прежде чем он открыл глаза, по голове уже ударил свет, вначале как глыба, которая сорвалась со склона и катится по шоссе, и расплющивает того, кто ее рисует, а затем как пила, которая распиливает кости грудной клетки, ползает туда и сюда без малейшего обезболивания, и вспомнил, как веснушчатая Белла со второго этажа, которая работает в поликлинике, зашла к ним вчера вечером после похорон, в сущности это был первый раз, что эта совершенно неинтересная женщина зашла к ним домой и оставила им обоим пачку с шестью снотворными таблетками на первые три дня — так она сказала, — а если потом потребуется еще, скажите мне, и казалось, что она колеблется, обнять ли их, и решила, что не стоит, и, когда Лаки завывала на нее, сказала: Только ты, Лаки, была в доме, и как ты позволила ей сделать это, и где мы все были, и когда свет превратился в бездонный колодец, он начал падать в него с открытыми глазами.

Нира против него тоже открыла глаза и на мгновение как будто не узнала его и не вспомнила того, что случилось, и в глазах ее стояло только обычное опасение, что гнев его обернется против нее, и он покажет ей, что не поступает так, как поступают все, а как раз делает все наоборот, иначе, чем все, и что она должна стоять за него не в точности на его стороне, но на некотором расстоянии, и смотреть на то, что он делает как раз наоборот, и любить его как раз поэтому, и понять, что он особенный и у него есть особые правила, и откуда она возьмет силы для этого, и тогда она возложит свои тяготы и слезы на широкие плечи Лиат,

слишком широкие для пятнадцатилетней девушки, и груди тоже слишком большие, и Лиат скажет: «Мамочка, у тебя нет неприятностей, у тебя есть проблема с голосом, который в последнее время делается все более и более грубым», и посмотрит на нее глазами, которые в последние недели застыли в бритом черепе, и пойдет подметать кухню, и она скажет: «Лиат, я не знаю, что бы я делала без тебя, только тем не менее ты должна сесть на диету», и вздохнет, и тогда как будто воздух, который она втянула в себя, делается взрывчатым веществом, селитрой, взорвавшейся у нее внутри, и тут она вспомнила все, и общая стена на фасаде дома рухнула на все растения в палисаднике и на всех улиток, и расплющила ее постоянные опасения от того, что будет, что будет, и она услышала осипший и отвратительный голос, вырывающийся, не считаясь ни с чем, у нее из горла, хриплый и протяжный звук как из шеи коровы, которую режут, и кровь на ее глазах хлещет из раны, и вдруг услышала в собственном крике и его крик, и поняла, что они кричат вместе в шесть тридцать утра из глубин одной и той же кровати, и, не дожидаясь разрешения, в панике потянула на себя его тело, все целиком, и, как не спрашивают разрешения у падающего шкафа, так без разрешения обхватила его и прижала к себе все его члены, одно к одному, как столяр подгоняет заготовки мебели, напрягая при этом и мускулы живота, и удивилась, что у нее достает силы удержать его и что он не выказывает никаких признаков сопротивления или желания сделать это иначе, и обратила внимание, что он тоже обнимает ее и что они уже не кричат, а рыдают, и что это произошло именно так, что оба они одновременно прекратили кричать и перешли на рыдания, каждый своим голосом, но совершенно в том же ритме, в унисон, и она спросила себя как во сне, что тут происходит и сколько времени это продлится.

КРАСИВЫЕ ВЕЩИ

Мой муж любит море.

— Взгляни! Посмотри — до чего же оно красиво! У каждого моря есть свой цвет, свой запах, — твердит он мне каждую субботу в семь пятнадцать утра, когда мы бежим вдоль берега, и целует меня.

Каждую субботу он говорит мне это, но я продолжаю любить город на горе. С самого первого дня, когда я прибыла сюда из своей деревни учиться в Технологическом институте питания, я чувствую себя так, словно воздух приподымает меня над землей и шепчет мне: вот оно! Это как во сне — нет тракторов, нет утренних мух. Все из камня. Но мой муж любит море, и, кроме того, он работает на местном заводе по производству кондиционеров. Мы живем в приморском районе. В один прекрасный день я сказала:

— Хватит! Я схожу с ума от этого. Нет тут никакой красоты! Давай переедем в другое место. В городе на горе я молодею уже от того, что дышу воздухом. Этот низменный приморский район не гармонирует с моей личностью, я живу тут как в пустыне, что это за жизнь!

Я плакала и курила. Каждый день одно и то же: час или два по дороге на работу и столько же обратно. В субботу — море.

Ребенок любит кока-колу, собаку и своих скаутов. Я заверила его, что в городе на горе тоже есть кока-кола и есть скауты. Убедила, что собаке полюбится

город на горе. Обещала ему снег. Я тоже пытаюсь воспитывать в нем любовь к красивым вещам.

В городе на горе поезд свистел, как в кино. Воздух был свежим и прохладным. Зелень кипарисов была серой, под цвет камня. Бой наших стенных часов вдруг сделался как звон колоколов. Муж сказал, это оттого, что потолок в квартире, которую мы купили, выше. В первый же день пёс сбежал, а когда вернулся, выяснилось, что он отравлен. Потом мы долго препирались из-за цвета оконных решеток, под конец он согласился со мной, что черный — это гораздо более стильно, чем голубой. Был уже поздний час, а назавтра он должен был встать очень рано, чтобы успеть на работу к своим кондиционерам.

— Я не люблю спорить, — сказал и повернулся ко мне спиной.

Вскоре сверху, с потолка, на нас обрушились странные звуки, которые не давали уснуть. Как будто кто-то строил башню из деревянных кубиков, разрушал ее и снова строил. Мы поднялись на второй этаж. Там была девушка, которая стояла возле раковины, облаченная в плеер «Walkman», бикини, передник и белые деревянные башмаки. Жевала жвачку и покачивалась в такт музыке, постукивая башмаками по полу. И был парень в черных трусах и таких же белых деревянных башмаках, который поддерживал ее сзади за бедра. Я вежливо представилась в качестве новой соседки, а мой муж предложил, что мы купим им обоим спортивные тапочки, чтобы у нас было тихо. Парень выслушал со всей солидностью, некоторое время молчал и под конец произнес размеренным голосом, который словно выходил у него из носа:

— Ни в коем случае. Мы всегда в этих деревяшках. Это наш стиль.

А девушка прибавила:

— Это гармонирует с нашей личностью. — И продолжила с закрытым ртом жевать жвачку.

Парень сказал:

— Это то, что мы любим. Так нам нравится. Ничего не поделаешь.

Утром я услышала снаружи, в вершинах сосен, карканье ворон и наряду с этим звуки гораздо более тонкие, но тоже весьма крикливые: цию-циу-циу! Я спустилась в сад, и на голову мне посыпались хлебные крошки. Я посмотрела и увидела, что соседка с третьего этажа вытряхивает различные вещи: сначала свою ночную сорочку тускло розового цвета, переходящего в желтый, потом два нейлоновых пакета, затем лифчик необъятных размеров, затем дело дошло до большой жестянки, как видно, из-под бисквитов. Каждая вещь, которую она вытряхивала, издавала особый характерный для нее звук. Старуха улыбалась, и ее искусственные зубы блистали на солнце. После того как она покончила с вытряхиванием, выколачиванием и проветриванием, в сад была выплеснута полная миска тюри из размоченной халы. Старуха вновь воззвала: цию-циу-циу!

— Может, прекратишь эти свои выколачивания и проветривания? Вытряхивает, выколачивает и проветривает! — послышался из глубины дома хриплый мужской голос.

— В чем дело? Нельзя вытряхивать и проветривать? Некрасиво? Я люблю это! Люблю! — ответила она высоким крикливым голосом. — Мужчина не умеет ценить ничего хорошего, — обратилась она с балкона ко мне. — Не нужно ему ни пирогов, ни оладий, только овощной суп и протокваша. Это он любит. Ничего другого не согласен есть. Ты должна была видеть, как мой отец ел: нанизывал на шампур соленую рыбу — анчоусы — клал на огонь, повертит, повертит и глотает. Наливает стакан чаю с анисовой водкой и глотает.

А этот с утра стонет: у него камни в животе, и нехороший запах во рту, и депрессия. Всегда в депрессии. Не знает, что такое смех, не знает, что такое радость. Не живет в этой стране вовсе, все не по нём.

— Не обращай на нее внимания, — прокричал мне ее муж, тоже появляясь на балконе. — У нее душевное заболевание, семьдесят процентов, со справкой. Мне требуется диета, а она только печет оладьи на прогорклом масле. Как будто я не существую. Раньше я взрывался от этого. Теперь, когда она начинает кричать, я подымаюсь и ухожу себе из дому, иду в синагогу или к своему товарищу, сапожнику. Что мне делать дома? Учись у меня.

Он уже возле меня на тротуаре — изо рта у него несет кислым запахом банки с цветами, в которой давно не меняли воду. Продолжает:

— Как я могу получать удовольствие от пищи? У меня все болит, когда я ем, рот у меня болит. Посмотри на мой язык. Н-э-э! — Он закрывает глаза и выбрасывает в мою сторону белесый, серый, как мышь, язык.

А с третьего этажа ему вторят вопли:

— Пусть катится к своим товарищам! Мужлан, который не умеет ни от чего получать удовольствие. Лишь бы скандалить. Это то, что он любит. Я — меня все уважают. Мальчик, за которым я присматривала в прошлом году, сказал мне: «Когда станем большими, поженимся». Мой отец — он действительно любил меня. Я, бывало, иду по тротуару, возвращаюсь из школы, а отец на другой стороне, даже не зовет меня, только идет и смотрит на меня: глядите! Глядите, люди, какая у меня дочь красавица! Перед смертью все смотрел на меня, мне тогда было шестнадцать. Я теперь, когда иду по улице, всякий раз чувствую, что вот он идет и смотрит на меня с противоположного тротуара и думает себе: смотрите, смотрите все, какая

дочь красавица у меня! Я знаю. А я — у меня, между прочим, и теперь еще неплохой цвет лица. Кто скажет, что мне шестьдесят семь? Я еще собираюсь жить — до ста двадцати! Что — это не хорошо? Не красиво?

Вечером постучалась в дверь. Серые волосы растрепаны, губы дрожат, бормочет:

— Телефон, больницу, «скорую»!

Я позвонила в «скорую» и поднялась с ней на третий этаж. Там стоял резкий странный запах, то ли супа из куриных потрохов, то ли перепревшего дрожжевого теста, то ли коровника с больными коровами, — не знаю, что это был за запах. На грязных стенах были наклеены полосы обоев и на них фотографии: поблекшие, смутные силуэты, статные и нахально улыбающиеся люди. Небольшая лужица крови натекла на полу в том месте, где стоял сосед и трясущимися руками застегивал ширинку. «Я умираю, — сказал он мне. — Ноги уже холодные».

Она всплеснула руками и принялась лупить себя по щекам: так, так, еще, еще, сейчас и у меня пойдет кровь, сейчас и я умру. Ты увидишь! Ты не оставишь меня одну! Она обнимает его и с моей помощью тащит на лестничную площадку. Он кладет голову ей на плечо и закрывает глаза. Ноги не идут — волочатся по полу, будто связанные.

«Скорая» уже ждала возле тротуара. Он открыл глаза, снял с руки часы и передал ей, чтобы сохранила. Минуту размышлял насчет очков и под конец вручил ей и их. Она была напугана и все крепче обнимала его.

— Чтобы вернулся ко мне живой, слышишь?! — заорала вдруг диким голосом. — Чтобы вернулся ко мне живой! — И завывала, обхватив его бедра и живот.

Одна его нога уже была на ступеньке «скорой», женщина вцепилась вдруг обеими руками в его голову, повернула к себе и поцеловала в губы долгим и силь-

ным поцелуем, с чмоканьем приклеилась ртом к его рту, словно хотела вобрать с себя вкус грязи и оставить у себя.

— Чтобы вернулся ко мне живой! — продолжала скулить, глядя, как «скорая» удаляется, и крутила головой, будто «вертушка» на газоне.

— Я люблю, когда он дома, — подвывала мне в уши. — Чтобы только был дома. Ты знаешь, мы даже не женаты. Из-за пособия. Если любят, так любят, это вопрос характера, не так ли? — сказала и зажгла сигарету, глубоко вздохнула, втянула в себя дым, а потом выпустила. Я чувствовала, что у меня кружится голова и что я тоже должна закурить. Взяла у нее сигарету, она сплела пальцы своей руки с пальцами моей и прижалась ко мне.

В субботу шел снег. Все утро я стояла вместе с мальчиком возле окна и курила сигарету за сигаретой. Муж продолжал спать до полудня. Мальчик был болен ангиной и, наверно, еще трауром по отравленному псу. Я предложила ему кока-колу, но он не захотел. Мы смотрели на пар, который словно нежным усилием выдавливался из пня свежесрубленного дерева во дворе и поднимался вверх, и я ощущала такую легкость, словно мы сами испаряемся.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Теплым августовским утром, поливая орхидею дистиллированной водой, я сообщила мужу, что сегодня после работы зайду в оптовый магазин купить детям тетради и прочие письменные принадлежности перед новым учебным годом.

— Таким образом, я беру машину, и не жди меня, пожалуйста, к обеду.

Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он благородно промолчал, не спросил, есть ли еда в холодильнике, не напомнил, что, согласно нашему договору, сегодня именно тот день, когда я должна ехать на работу на автобусе, чтобы сэкономить бензин. Я тоже не сказала ему, что я думаю о таком правиле, которое действительно когда-то сама предложила, в данный период, когда любой автобус в любой момент может взлететь на воздух. Я тоже не лишена благородства. Собственной выдержки. Я люблю, чтобы все было хорошо, отсутствие порядка делает меня больной. Терпеть не могу препирательств и толстых людей.

По дороге из конторы в оптовый магазин руль в машине обжигал ладони, и я была очень голодна. Пришлось дожидаться, пока продавец в отделе письменных принадлежностей закончит обслуживать предыдущих клиентов. Он выглядел так, словно десятки лет заведует торговой точкой в рабочем поселке. Покупателями были мужчина, монашка и ребенок.

У мужчины была небольшая черная борода, густая, тщательно очерченная на щеках, и нежный взгляд, словно он слушает музыку, звучащую только для него одного. Он сидел на стуле со сложенными на груди руками, и рубашка его блистала белизной. Монашке было лет пятьдесят, голова укутана в гладкий светло-серый платок, розовые щеки упакованы в белый чепец. Мальчик в спортивной обуви и белых махровых носках до колен с красной узорчатой каймой, бледный, мускулистый, с узкой спиной, беспрерывно покачивался из стороны в сторону. Они покупали мальчику школьную сумку, и служащий искал в картонной книжке серийный номер товара. Наконец нашел и переписал цифры в соответствующую графу лежащего на столе бланка. Перед тем как вывести каждую следующую цифру, рука его крутила авторучку в воздухе, словно была пловцом, который стоит на трамплине и собирается прыгнуть в бассейн. Затем ручка ныряла в глубину бумаги и выводила: 3. Цену школьной сумки пришлось искать в другой картонной книжке. Сумму также следовало указать в бланке. Мальчик произносил вслух, по-французски, каждую цифру, еще до того, как завершалась ее запись. Он старался читать тихим и ясным голосом, чтобы, с одной стороны, не мешать продавцу в его трудах, а с другой — сознавая важность момента. От покупателей потребовалось назвать свое имя, домашний адрес и телефон, и мальчик служил переводчиком между мужчиной и продавцом.

— Имя? — спросил служащий.

— Votre nom? — перевел мальчик.

— Блён, — сказал мужчина.

— Белый, — поторопился перевести мальчик.

Служащий был не склонен чему-либо удивляться. Он записал и передал мальчику сумку. Мальчик подпрыгнул и поцеловал мужчину в щеку, а потом по-

целовал и монашку. Монахиня рассмеялась и сказала мальчику по-французски:

— Получил то, что хотел, да?

Мужчина положил руку на плечо мальчика, повернул голову ко мне и улыбнулся, как будто приглашая меня поучаствовать в чем-то.

Они удалились, я очень надеялась усесться на их место, но тут явились непонятно откуда два араба, один — гигант с большим золотым кольцом на мизинце, а другой — маленький и тощий с черными зубами. Они объяснили продавцу, что заинтересованы приобрести сотню стульев для кафе, при этом гигант принялся играть с машинкой для резки бумаги, называемой гильотина, и поинтересовался ее ценой. Услышав ответ, сказал «Я-ба...». Я решила не спорить о своем месте в очереди.

Мне нужны были тетради разных размеров и видов, у каждого из них свои серийные номера, а еще карандаши, ластик, точилки, обложки для тетрадей, записные книжки и листы, которые можно вставлять в скоросшиватели. Когда продавец закончил записывать заказ, была уже половина четвертого и я умирала от голода. Заведующий отправил меня на склад, там паренек подберет все перечисленное, потом я смогу оплатить покупку в кассе и, предъявив чек, получить ее. Я обливалась потом, в животе у меня начал ворочаться и ползать червяк. По дороге на склад письменных принадлежностей, возле отдела одежды и текстиля, я попросила парнишку немного подождать.

За прилавком отдела нижнего белья стояли две женщины, одна молодая, вторая пожилая. Молодая была в облегающем комбинезоне и прозрачной блузке, которая с трудом прикрывала ее грудь. Она жевала свежую булочку, из которой выглядывал толстый ломоть мягкого соленого сыра и поверх него ломтик

соленого огурца, и с каждым укусом широко разевала рот, чтобы ухватить бутерброд зубами.

— Зельда, хочешь чего-нибудь поесть?

— Нет, — отвечала пожилая, — надо работать.

Она уселась и стала заполнять бланки, волосы у нее были жидкие и серые, а очки с такими толстыми стеклами, что глаза казались крупнее всего остального лица. Одета она была в белую полотняную блузку без рукавов, отделанную кружевом, напоминавшим швейцарский ажур дантель, который продавался в универсаме «Машбир» лет сорок тому назад. Более всего привлекли мое внимание бицепсы ее рук, вернее, мешки кожи, ниспадающие поверх локтевых суставов. Руки выдавали ее пошатнувшееся здоровье и старость даже откровеннее, чем бледность лица и линзы очков. Я подумала: после пятидесяти не каждая должна носить блузку без рукавов. Покупателями Зельды были продавщицы из других отделов, советующиеся с ней:

— Зельда, милая, что стоит купить?

Она была корректной в своих рекомендациях — одной, средних лет, размышлявшей, приобрести ли мини-трусички, сказала:

— Купи, если ты думаешь, что это тебе необходимо.

Смуглый усатый мужчина расхаживал передо мной взад-вперед, пытаясь уловить мой взгляд, и, когда преуспел в этом, пробормотал:

— Это нервы, категорически нет, категорически нет!

Блондинка с ямочкой на подбородке подошла к Зельде и выразила желание приобрести цветастую простыню.

— Простыня и наволочка идут в комплекте, — объяснила Зельда.

— Но я купила у вас такую наволочку отдельно на прошлой неделе, и теперь я хочу добавить простыню, — возразила женщина.

— Не может такого быть. Покупают две вещи вместе — комплект, — настаивала Зельда.

— Но вы сами продали мне наволочку отдельно! — взмолилась женщина.

— Значит, я ошиблась. Простыня и наволочка идут в комплекте.

Препирательства становились все более громкими, и молодая продавщица вмешалась:

— Зельда, ты всегда такая упрямая. Продай ей. Продай ей, что она хочет. Человек хочет купить, так продай.

Тут смуглый усатый мужчина подошел к Зельде и сказал:

— Зельда, почему ты не хочешь продать моей кухне простыню отдельно? Это хорошо? Это плохо?

— Она твоя кухня, Саид? — заорала Зельда. — Ты уверен?

— Уверен ли я? Более чем я уверен в имени моей матери! — воскликнул смуглый усач.

— Прекрасно. Но у меня берут только комплект. Так я продаю. Хочешь — иди к заведующему, пусть скажет.

Саид, или как бы там его ни звали, протиснулся за стул Зельды сзади, наложил свои лапищи на ее руки, скрестил их у нее на груди и подхватил ладонями жидкую плоть, ниспадающую с двух ее предплечий, как подхватывают груды грязной одежды и несут к стиральной машине. Склонился к ней и, с улыбкой смотря на окружающих, вlepил в ее потную щеку звонкий и долгий поцелуй.

— Продай ей, — прошептал ей на ухо.

Голова у меня кружилась. От вида их физиономий мое собственное лицо перекопилось, как от зубной боли. Смуглый усач Саид, все еще сжимавший локти Зельды, придвинул свою башку к самым моим глазам и сказал:

— А что?

Я почувствовала, что в следующее мгновение хлопнусь в обморок.

— Это некрасиво, — отрыгнула я.

— Что некрасиво? — Он продолжал удерживать Зельду, будто выставлял ее напоказ. — Погляди на нее, погляди: мы — так. — И присовокупил к своим словам легкий шлепок по отвислым бицепсам, как шлепают по заду выючное животное.

КАК ЕЙ ОТРЕЗАЛИ КОСУ

В девятом классе, который у нас в мошаве был выпускным, Тами оставалась единственной девочкой, которая еще носила косы. Все остальные девочки, у которых были косы, остригли их в шестом или седьмом, самое позднее в восьмом — в любом случае, до перехода в старшие классы. Тами, дочь учителя истории Йехошуа, поклялась, что не острижет волос, даже когда у нее будут собственные дети и, по своему обыкновению, завершила фразу волной раскатистого смеха. Мы, как всегда, сидели вокруг нее во время большой перемены в тени могучего дерева, ладони стиснуты между ляжками. Она как раз закончила пересказывать фильм, который смотрела вместе с матерью в Тель-Авиве — она ездила туда каждую неделю брать уроки музыки. Если они не посещали в этот день кино, Тами рассказывала нам сон, который приснился ей ночью, например, как она ныряла в море и встретила русалок, обитающих в подводном царстве, — их плавники были как шелковые платья. Ее веснушчатые пальцы двигались по ходу рассказа вместе с тонкой талией, изображали в воздухе волны, объятия, всё очарование любви и тоски. Все мы — все девочки, были загипнотизированы рассказом, неотрывно смотрели в ошеломляющую глубину ее голубых глаз и восхищались ее смуглой кожей. Она покачивалась, но все в ней оставалось спокойным, в том числе блестящие косы цвета

меди, уложенные короной вокруг макушки. Если она стояла, косы доставали до колен. Она сообщила, что ее бабушка отказалась от хорошего сватовства только из-за того, что не пожелала остричь перед свадьбой косы. Смех ее раскатывался мелкими серебряными шариками, и мы преданно смахивали песок с ее бедер.

Утром перед походом, как и каждое утро, мама расчесала ей волосы особым гребешком, который помогал распутывать свалевшиеся пряди, так, чтобы не было больно, и заплела ей косы. Во время расчесывания солнечные вёсла света протискивались сквозь щели жалюзи и погружались в волны блестящих волос. Корону она укладывала уже сама, втыкая в нее двенадцать шпилек таким образом, чтобы они не были видны. Мама наблюдала за ее движениями и восхищалась: золотая корона на голове принцессы! — как будто была ее горничной.

В то утро, на которое была назначена экскурсия, Тами было трудно подняться в половине шестого, и когда закончилось расчесывание волос, уже не осталось времени уложить корону. Тами разнервничалась и кричала:

— Я не знаю, что мне делать с этими косами!

И ее папа, учитель истории, сказал:

— Так остриги их.

Мама посмотрела на него, как на убийцу, и не произнесла ни звука.

На грузовик Тами поднялась последней и поискала взглядом, занял ли Авиноам место для нее, как он сделал это во время прошлой экскурсии. Не занял. В автобусе это, возможно, проще, но если бы захотел, то мог бы припасти для нее местечко и в грузовике. Тогда она уселась с нами, в точности напротив водителя Йоханана. Авиноам был тем, кто распустил слух, будто Йоханан однажды пригласил ее к себе домой, чтобы

побеседовать о положении в классе, и перед тем как она ушла, положил руки ей на бедра, но все знали, что Авиноам любит Тами и не может вынести, чтобы кто-нибудь другой любил ее, даже девочки.

— Споем! — распорядился Йоханан.

И мы запели: «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы». Йоханан смотрел Тами в глаза до тех пор, пока она не повернулась к нему спиной. Когда мы устали петь, то начали говорить о сапожной ваксе, зубной пасте, майонезе, оливковом соусе, то есть о всех тех вещах, которыми ночью можно измазать лица спящих, и выясняли, что у кого имеется, чтобы быть наготове.

— Все это есть у меня в заднице, — сказал вдруг Авиноам более грубым, чем обычно, голосом.

А когда Йоханан поднялся со своего места, трясясь и пошатываясь, и вперил в него злобный взгляд, Авиноам спросил:

— У кого есть ножницы, чтобы отрезать Тами одну косу — только одну? У вожатого Йоханана?

В кузове сделалось тихо. Мы думали, что Йоханан остановит грузовик и выкинет вон Авиноама или пождет, пока мы доедем до Афулы, и оттуда отправит его домой. Но он молчал, и было ясно, что он обдумывает, что бы такое сделать, чтобы как следует проучить Авиноама. Несколько минут воздух перемалывался рычанием мотора, и тут мы услышали Тами, произнесшую странным голосом:

— Авиноам, ты хочешь, может быть, отрезать мне косы? — И шарики ее смеха были мельче и плотнее, чем обычно.

— Не волнуйся, Тами, — сказал Йоханан, — он не сделает этого.

— Так или иначе, однажды тебе все равно отрежут косы в парикмахерской, как всем девчонкам, — ска-

зал Авиноам. И прибавил, будто про себя: — Мне не нужны девчонки.

И на этом дело пока что закончилось.

Сама экскурсия началась только в полдень. Когда мы добрались до района Нахаль-Сорек, равнина сменилась каменистыми холмами и подъем в гору превратился в безнадежное состязание для тех, кто не мог похвастаться достаточной физической подготовкой. Вожатый Йоханан несколько раз призывал не растягиваться, двигаться гуськом, но ничто не помогало. Цепочка распалась, и расстояния между нами все увеличивались. Фиговые деревья по сторонам тропы, увешанные спелыми плодами, окончательно смешали порядок, поскольку Йоханан не сумел удержать нас от того, чтобы мы набросились на добычу. Старались в основном парни. Рвать плоды с чужих деревьев и преподносить их девчонкам в нашем мошаве оставалось основной формой любовных признаний до тех пор, пока не начались поездки на тракторе. Авиноам был среди налетчиков. Понятно, что он сам лакомился инжиром, который добывал.

Тами оказалась среди отставших, с трудом дышала, преодолевая подъем, и Йоханан взял на себя роль регулировщика движения.

— Нужно все время идти в одном и том же темпе, как когда играешь на музыкальном инструменте, — сказал он ей. — Так меньше устаешь.

Но все равно в какой-то момент она уселась с закрытыми глазами на землю, и по наклону ее головы было ясно, что она теряет сознание.

— Вставай! — сказал Йоханан, но она только пролепетала:

— Я не могу, я не могу...

Йоханан полил ей голову водой из своей фляжки и спросил:

— Ты хочешь домой?

— Я хочу умереть, — пробормотала она в полуобмороке.

— Что? Умереть?! Что за глупости ты болтаешь! — процедил Йоханан сквозь зубы и подхватил ее на руки как младенца. Вообще-то она не отличалась большим весом, фигурка у нее была как у двенадцатилетней девочки, но тем не менее шагать с ней вот так, да еще с рюкзаком за спиной...

Открыв глаза, она сказала:

— Я хочу инжира.

У Йоханана не было инжира, а Авиноам сам слопал все плоды.

Вечером мы сделали привал в Иштаоле. Расстелили одеяла на полу старого заброшенного дома, а снаружи разложили костер, пекли картошку и варили кофе. Языки пламени взрывались, как пузыри, охваченные жаром, и с треском раскалывались между жирными окороками огня. Мы сидели, скрестив ноги, и за пазухой у нас ютились тени. Тами сбросила обувь, вытащила шпильки из головы, распустила косы и принялась расчесывать свои удивительные волосы. Они были наэлектризованы, и из них сыпались крохотные искорки. Осоловелые, мы сидели кружком, а за нашими спинами играли, как кошки, легкие дуновения ночного ветерка, пока не смешали нас всех в один пылающий ком. Тами так и задремала возле костра, лицо ее было спрятано в растрепанных волосах. Йоханан объявил, что теперь все без всяких фокусов идут спать — без дурацких измазываний и раскрашиваний. К Тами он приблизился каким-то особым манером и развел руками ее волосы, как раздвигают занавески. Она заплела свои косы сама, без мамы, и сказала:

— Горе тому, кто собирается отрезать мне ночью косы, — и поискала взглядом Авиноама.

— Не беспокойся, Тами, — произнес Йоханан размеренным тоном, который не оставлял места ни для каких сомнений.

Она погрузилась в сон и, когда почти достигла дна, навстречу ей всплыло создание из подводного царства с четырьмя руками и четырьмя ногами, и оно поцеловало ее, как в кинофильме, и она была вынуждена целовать его, пока не поднялась ровная полоска пузырей изо рта их обоих, и она видела, что у нее вырастают восемь длинных, как змеи, конечностей, и они покрыты сосками. Кто-то прикасался к этим соскам и осторожно гладил, а она стонала от удовольствия в теплой и скользкой воде.

Утром все увидели, что только одна коса свисает у нее за спиной, туго заплетенная и блестящая, а вторая валяется на земле, как отрубленная нога. Тами смотрела на отрезанную косу расширившимися голубыми глазами, все сильнее бледнела и не издавала ни звука.

Мы окружили ее, объятые ужасом и сотрясаемые нервным смехом.

— Идиот тот, кто это сделал... Идиот, идиот!.. — вопили мы, как будто кто-то вставил нам в рот автоматический электробарабан, который невозможно выключить.

Когда переполох стих, Тами все еще сидела на груди одеял, и вокруг нее сдвинулись ряды глаз, понимающих, что сейчас что-то случится.

— Тот, у кого достало смелости отрезать ей одну косу, должен взять на себя ответственность и отстричь также и вторую, — сказала я, которая, из-за того что не была красавицей, всегда хотела быть самой умной, отчего все терпеть меня не могли. Тами пробормотала, как будто теряя сознание:

— Мне все равно, пусть будет Авиноам... — Сказала и закрыла глаза.

— Авиноам, — приказал вожатый Йоханан, — возьми мои ножницы.

— Почему именно я? — сказал Авиноам. — Пусть она сделает это сама.

— Делай, что тебе говорят, и немедленно! — закричал Йоханан и уже задрал в воздух обутую ногу, чтобы пнуть его.

Авиноам взял ножницы Йоханана и с торопливым хладнокровием отрезал и вторую косу, не стараясь соблюсти одинаковую длину. Можно было слышать поскрипывание ножниц. Тами закрыла глаза и не открыла их, даже когда он прекратил резать.

Сложно было объяснить маме Тами, кто это сделал ее дочери. Она не поверила Тами и никому из нас не поверила. На свадьбе с Авиноамом Тами уже была подстрижена под мальчика, но и так она тоже выглядела красавицей.

ВОЖДЕЛЕНИЯ

Говорили, что у ее отца есть предприятие, вывеску которого можно видеть с шоссе, и действительно, внимательно присмотревшись к изображению девочки на этой вывеске, приходилось признать, что это вполне могла быть Нимрода в раннем детстве. Как видно, тогда ее волосы, которые давно уже находятся в бессрочном конфликте с парикмахерской, были заплетены в две небольшие симпатичные косички, щеки были круглыми и гладкими, без намека на теперешние прыщи, которые она даже не пытается как-нибудь замазать, и не исключено, что на них даже пылал румянец. Но все соглашались с тем, что с деньгами ее отца ей беспокоиться не о чем. Да она и вообще не из тех, которые беспокоятся. На школьные экскурсии она являлась с сотенной бумажкой, потому что у ее папаши не было купюр помельче. Она рассказывала, что у него нет бумажника, потому что ни один бумажник не будет достаточно вместителен для тех пачек денег, которыми набиты его карманы. Часть этих денег появлялась благодаря азартным играм, рассказывала она. Отец с матерью ездят за границу и там играют. Она сообщала также, что ее мать на десять лет старше отца. «Дедушка и бабушка сватали и сватали ее, но она только отрицательно качала головой, пока не встретила моего отца. Она не знала, что он разбогатеет, и вообще ей это было не важно». Если мы спрашивали, почему она

не хочет выщипать свои слишком густые брови, она отвечала: «Потому что такой Господь сотворил меня». Затыкала таким образом нам рот и глядела на нас в упор своими громадными глазами цвета пива, похожими на две гири. У нее был абонемент в филармонию, и она отправлялась на эти концерты в одиночестве, и ей было не важно, есть завтра контрольная или нет, или даже экзамен на аттестат зрелости. В тех же самых черных лодочках и белых носках, в которых ходила в школу, посещала свои концерты, в то время как мы все уже носили капроновые чулки. На случай дождя у нее имелись галоши — да, представьте себе! — и шофер забирал ее домой, раскрывая над ней зонтик и провожая ее от дверцы автомобиля до дверей дома, но она бежала перед ним, как будто его вообще нету там. Несколько раз мы приглашали ее на вечеринки. Она приходила, опиралась о стену, минут десять смотрела и уходила, не сказав ни слова. Назавтра в классе даже не затрудняла себя извинениями, а если ее спрашивали, говорила: «Я вспомнила, что должна упражняться на виолончели».

В армии она служила в разведке, что подходило ей, потому что, когда мы колебались неделю, выбрать французский или арабский, она без лишних слов указала арабский, и еще потому, что всегда была молчуньей.

Потом всякие контакты с ней прервались, и, когда мы вновь повстречались в университетском кампусе, ее трудно было узнать: с темно-красно-лиловой помадой на губах и набеленными щеками она выглядела как девушка из японского фильма, и одежда была соответствующая — из шелка, который словно проливался на фигуру при каждом движении, без того чтобы облегать ее или что-нибудь такое. Она изучала философию и археологию, потому что зачем ей нужна литература или психология — проблем заработка у нее нет. Она может

позволить себе на добровольных началах обучать ивриту студентов-репатриантов и преподавать литературу в арабской школе или каждую неделю ездить навещать бабушку в доме престарелых и оставаться ночевать у нее. Она почти ничего не ест, это, конечно, диета, думали мы. Она всегда ходила в одном и том же шелковом платье цвета слоновой кости с черным орнаментом в японском стиле — точно так же, как в школе, на ней всегда были короткие белые носки. Мы не подозревали, что она объявила родителям после армии, что не будет брать у них денег, что по этому поводу были большие препирательства, и в конце концов те рассердились: «Ты еще придешь и попросишь!»

На втором курсе, когда ехала в автобусе на урок логики, возле нее сел толстый парень с большими карими глазами и потерянным взглядом и сказал ей, что он смотрит на нее и понимает, что она та женщина, которая ему нужна. Его звали Шимон, и он выглядел как собственный дядюшка в своих широких серых штанах, широкополой шляпе и с широкими нежными губами. В одежде того серо-голубого цвета, какой бывает в альбоме хорошего качества для рисования, он представлялся ей художественным этюдом. Он не пригласил ее на чашечку кофе. Он сказал, что они встретятся вечером у нее в квартире и что она приготовит что-нибудь вкусное — дескать, едва взглянув на нее, он понял, что она хорошо готовит.

И она первый раз в жизни варила куриный суп и купила яблочный пирог, который был, по ее мнению, лучшим угощением в мире. Шимон явился прежде назначенного часа, когда она еще гладила ленты на розовом шелковом платье. Она была в домашнем халате, который согласилась взять у бабушки, лишь бы та не обиделась, потому что она никогда не соглашается брать деньги. Он не дал ей закончить глажку. Она сказала, что в ее планы не входит влюбиться до защиты

докторской. А потом она хочет двенадцать детишек, и он сказал, что учится в музыкальной академии и станет оперным певцом, и в один прекрасный день все услышат про него. Она сказала, что для того, чтобы лучше узнать друг друга, они должны вместе поехать за границу, потому что это покажет, умеют ли они считаться друг с другом и делать что-то вместе, а он сказал, что еще не бывал в Милане.

Через три месяца выяснилось, что она беременна. Это было в канун праздника Пурим, через две недели они должны были отправиться в Милан, и она сказала ему по телефону: «Я должна сообщить тебе что-то важное. Мы не поедem в Милан, потому что нам понадобятся деньги. Когда придешь, я скажу тебе зачем». Когда она рассказала ему, он сказал:

— Если ты сделаешь аборт, я не женюсь на тебе.

Она восприняла это как предложение руки и сердца и была счастлива. Спросила:

— Как мы будем зарабатывать на жизнь? Я хочу двенадцать детей.

Он сказал, что он из религиозной семьи, родители его живут в Венгерском квартале Иерусалима. Там все мужчины изучают Тору, а женщины содержат семью.

— Ты считаешь, что петь в опере — это менее важно, чем изучать Тору? — спросил чрезвычайно серьезно.

— Мне это представляется более серьезным, — сказала Нимрода, высоко ценившая музыку и музыкантов. — Я не боюсь никакой работы, я могу преподавать иврит, литературу, музыку. Но если у меня будет много детей, это будет сложно.

— У меня есть дедушка, ему девяносто восемь лет, — сообщил Шимон. — Когда он перейдет в лучший мир, я получу большое наследство. У него три дома в Иерусалиме, и он сказал, что один из них он завещает мне, потому что он без ума от синагогального

пения, и с его точки зрения оперный певец — это как кантор в синагоге. Вся семья знает это, они злятся, но ничего не могут поделать.

Нимрода и Шимон поженились, и отец Нимроды купил им квартиру. Но три года спустя после этого он был вынужден продать ее, потому что проиграл огромные деньги в рулетку. Ему пришлось продать и предприятие, и собственную виллу, и две квартиры, которые они сдавали в наем в Южном Тель-Авиве. Родители Нимроды перебрались жить к ним в их с Шимоном съемную квартиру в Рамат-Авиве.

В том же году скончался дедушка Шимона, но в своем завещании он не упомянул дома, обещанного внуку. Шимон был потрясен, разгневан, разрывался от злости. Он решил обратиться к адвокату и через суд востребовать причитающееся ему. Все деньги, которые он зарабатывал преподаванием пения и выступлениями, он вложил в эту тяжбу, окончившуюся поражением.

Я встретила недавно Нимроду в районном клубе, куда пришла на занятия гимнастикой для пожилых женщин. Она ведет там уроки иврита, у нее есть и частные ученики, которых она обучает искусству писать сочинения и понимать то, что учительница объясняет в классе. Она живет в маленькой квартирке в Южном Тель-Авиве и с трудом содержит мужа и стареньких родителей. Дети живут уже отдельно, и это весьма облегчает положение, — так она сказала и посмотрела на меня своими глазами цвета пива, которые до сих пор удивительно сверкают под неухоженными бровями.

СОДЕРЖАНИЕ

Записки благодарного человека Адама Айнзаама. <i>Повесть</i>	5
Анастасия. <i>Перевод Юлии Винер</i>	70
Ограда	83
С тех пор ничего не случилось	96
Жвачка	107
Первая любовь	113
Исцеление	125
В минимаркете «Барух»	135
Музыка	143
Ненавижу Бостон	156
Очень приятно	169
Тигрица	175
Третья годовщина	182
После	194
Красивые вещи	197
Письменные принадлежности	203
Как ей отрезали косу	209
Вождения	216

Хамуталь Бар-Йосеф

Б24 Музыка : повести и рассказы / Хамуталь Бар-Йосеф; пер. с иврита С. Шенбрунн. — Москва: Текст, 2015. — 221(3) с.

ISBN 978-5-7516-1279-5

Хамуталь Бар-Йосеф — доктор философии, профессор ивритской литературы. Живет в Иерусалиме. Опубликовала 14 сборников стихов, переводы произведений Исаака Бабея, две книги переводов из современной русской поэзии. Лауреат нескольких литературных премий, автор семи монографий и многих научных статей по литературоведению. На русском языке вышли две книги ее поэзии. Сборник рассказов «Музыка» — первая прозаическая книга Хамуталь Бар-Йосеф. Она была удостоена премии союза писателей Израиля.

УДК 821.41

ББК 84(5Изр)

Хамуталь Бар-Йосеф
МУЗЫКА
Рассказы

Редактор О.Либкин
Корректор Т.Калинина
Оформление К.Баласановой

В оформлении использован фрагмент работы
Маргареты Юнгерт Бу (Швеция)

Подписано в печать 17.12.14. Формат 84 x 108/32.
Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 9,7.
Тираж 1000 экз. Изд. №1235.
Заказ №

Издательство «Текст»
127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7
Тел./факс: (499) 150-04-82
E-mail: text@textpubl.ru
<http://www.textpubl.ru>